

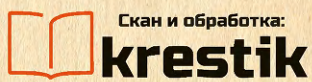
Л. Пантелеев



Новенькая



ДЕТГИЗ · 1956



Скан и обработка:

krestik

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Л. ПАНТЕЛЕЕВ

НОВЕНЬКАЯ

Р а с с к а з ы



Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1956



НОВЕНЬКАЯ

На улицах ещё не совсем рассвело и синие лампочки ещё горели у подъездов и над воротами домов, а Володька Бессонов уже бежал в школу. Бежал он очень быстро; во-первых, потому, что на улице было холодно: говорят, что таких морозов, как в этом, 1940 году, в Ленинграде не было уже сто лет; а во-вторых, Володьке очень хотелось самым первым явиться сегодня в класс. Вообще-то он не был особенно прилежным и выдающимся мальчиком. В другое время он, пожалуй, и опоздать не постеснялся бы. А тут — в первый день после каникул — было почему-то здорово интересно прийти именно первым и потом на каждом шагу и где только можно говорить:

«А вы знаете, я сегодня первый пришёл!..»

Он даже не остановился, чтобы посмотреть на огромные, выкрашенные в белую краску танки, которые, покачиваясь и оглушительно громяхая, проходили в это время по улице. Да это было и не очень-то интересно — танков теперь в городе было, пожалуй, побольше, чем трамваев.

На одну минуту только остановился Володька на углу — послушать радио. Передавали оперативную сводку штаба Ленинградского военного округа. Но и тут ничего интересного не было сегодня: поиски разведчиков и на отдельных участках фронта ружейно-пулемётная и артиллерийская перестрелка...

В раздевалке тоже ещё горела синяя лампочка. Старая нянюшка дремала, положив голову на деревянный прилавок, около пустых вешалок.

— Здравсти, нянечка! — заорал Володька, кидая свой портфель на прилавок.

Старуха испуганно вскочила и захлопала глазами.

— С добрым утром вас! Хорошего аппетита! — затараторил Володька, снимая пальто и калоши. — Что? Не ждали? А я ведь, вы знаете, первый пришёл!!!

— А вот и врёшь, балаболка, — сказала старуха, пстягиваясь и зевая.

Володька оглянулся и увидел на соседней вешалке маленькое девичье пальто с белым кошачьим или заячьим воротником.

«Эх, надо же! — подумал он с досадой. — Какая-то фыффра обскакала на полкилометра...»

Он попытался по виду определить, чьё это пальто. Но что-то не мог вспомнить, чтобы у какой-нибудь девочки в их классе было пальто с заячьим воротником.

«Значит, это из другого класса девчонка, — подумал он. — Ну, а в чужом классе не считается. Всё равно я первый».

И, пожелав нянюшке «спокойной ночи», он подхватил свой портфель и поскакал наверх.

...В классе за одной из первых парт сидела девочка. Это была какая-то совсем незнакомая девочка — маленькая, худенькая, с двумя белокурыми косичками и с зелёными бантиками на них. Увидев девочку, Володька подумал, что он ошибся и заскочил не в свой класс. Он даже попятился обратно к двери. Но тут он увидел, что класс этот никакой не чужой, а его собственный, четвёртый класс — вон на стене висит рыжий кенгуру с поднятыми лапами, вон коллекция ба-

бочек в ящике за стеклом, вон его собственная, Володькина, парта.

— С добрым утром! — сказал Володька девочке. — Хорошего аппетита! Как вы сюда попали?

— Я — новенькая, — сказала девочка очень тихо.

— Ну? — удивился Володька. — А почему — зимой? А чего ж ты так рано?

Девочка ничего не сказала и пожала плечами.

— Может быть, ты не в тот класс пришла? — сказал Володька.

— Нет, в этот, — сказала девочка. — В четвёртый «Б».

Володька подумал, почесал затылок и сказал:

— Чур, я тебя первый увидел.

Он прошёл к своей парте, внимательно осмотрел её, потрогал для чего-то крышку — всё было в порядке, и крышка открывалась и закрывалась, как полагается.

В это время в класс вошли две девочки. Володька захлопнул парту и закричал:

— Кумачова, Шмулинская! Здравствуйте! С добрым утром! У нас новенькая!.. Я её первый увидел...

Девочки остановились и тоже с удивлением посмотрели на новенькую:

— Правда? Новенькая?

— Да, — сказала девочка.

— А почему ты зимой? А как тебя зовут?

— Морозова, — сказала девочка.

Тут появилось ещё несколько человек. Потом ещё. И всем Володька объявлял:

— Ребята! У нас новенькая. Её зовут Морозова. Я её первый увидел.

Новенькую обступили. Стали разглядывать, спрашивать: сколько ей лет? И как её зовут? И почему она зимой поступает в школу?

— Я не тутэшня — потому, — сказала девочка.

— Что значит «не тутэшня»? Ты что — не русская?

— Нет, русская. Только я с Украины приехала.

— С какой? С Западной?

— Нет, с Восточной, — сказала девочка.

Отвечала она очень тихо и коротко и, хотя не смущалась нисколько, была какая-то грустная, рассеянная, и всё время казалось, что ей хочется вздохнуть.

— Морозова, хочешь давай будем сидеть со мной? — предложила ей Лиза Кумачова. — У меня место свободное.

— Давай, всё равно, — сказала новенькая и пересела на Лизину парту.

В этот день почти весь класс явился раньше, чем обычно. Каникулы в этом году тянулись почему-то необыкновенно долго и томительно.

Ребята не виделись всего две недели, но за это время у каждого накопилось новостей больше, чем в другое время за всё лето.

Волька Михайлов ездил с отцом в Терийоки, видел взорванные и сожжённые белофиннами дома и слышал — правда, издалека — настоящие артиллерийские выстрелы. У Любы Казанцевой бандиты ограбили сестру, сняли с неё меховую жакетку, когда она возвращалась вечером домой с фабрики. У Жоржика Семёнова ушёл добровольцем на войну с белофиннами брат, известный лыжник и футболист. А у Володьки Бессонова хотя своих новостей и не было, зато он своими ушами слышал, как в очереди одна старуха говорила другой, будто своими глазами видела, как в Парголове около кладбища постовой милиционер сбил из нагана финский бомбардировщик...

Володьке не поверили, знали, что он балаболка, но всё-таки дали ему поврать, потому что всё-таки это было интересно и потому ещё, что он очень смешно об этом рассказывал.

Заговорившись, ребята забыли о новенькой и не заметили, как прошло время. А за окнами уже совсем рассвело, и вот в коридоре зазвенел звонок, зазвенел как-то особенно — громко и торжественно.

Ребята быстрее, чем обычно, расселись по партам.

В это время в класс вбежала запыхавшаяся длинноногая Вера Макарова.

— Ребята! — закричала она. — Вы знаете... Новость!..

— Что? Что такое? Какая? — закричали вокруг.

— Вы знаете... у нас... у нас... новенькая...

— Ха! — захохотали ребята. — Новость! Давно без тебя знаем...

— Новенькая учительница, — сказала Вера.

— Учительница?!

— Ага. Вместо Элеоноры Матвеевны будет. Ой, вы бы видели! — Вера всплеснула своими длинными руками. — Хорошенькая... Молоденькая... Глаза голубые, а волосы...

Ей не пришлось дорисовывать портрет новой учительницы. Открылась дверь, и на пороге появилась она сама — действительно очень молодая, голубоглазая, с двумя золотистыми косами, заплетенными, как венки, вокруг головы.

Ребята поднялись ей навстречу, и в тишине какая-то девочка громко прошептала своей соседке:

— Ой, и правда какая хорошенькая!..

Учительница чуть заметно улыбнулась, подошла к своему столу, положила портфель и сказала:

— Здравствуйте, ребята. Вот вы какие! А мне говорили, что — маленькие. Садитесь, пожалуйста.

Ребята сели. Учительница прошла по классу, остановилась, опять улыбнулась и сказала:

— Ну, давайте познакомимся. Меня зовут Елизавета Ивановна. А вас?

Ребята засмеялись. Учительница прошла к столу и раскрыла журнал:

— О, да вас тут много! Ну, давайте всё-таки знакомиться. Антонова — кто это?

— Я! — сказала Вера Антонова поднимаясь.

— Ну, расскажи мне немножко о себе, — сказала учительница, присаживаясь к столу. — Как тебя зовут? Кто твои папа и мама? Где ты живёшь? Как ты учишься?

— Учусь — ничего, хорошо, — сказала Вера.

Ребята зафыркали.

— Ну, садись, — усмехнулась учительница. — Поживём — увидим. Следующий — Баринава!

— Я!

— А тебя как зовут?

Баринава сказала, что её зовут Тамара, что живёт она в соседнем доме, что мама у неё буфетчица, а папа умер, когда она ещё была маленькая.

Пока она это рассказывала, Володька Бессонов нетерпеливо ёрзал на своей парте. Он знал, что его фамилия — следующая, и не мог дождаться очереди.

Не успела учительница вызвать его, как он вскочил и зататорил:

— Меня зовут Володя. Мне одиннадцать лет. Мой папа — парикмахер. Я живу угол Обводного канала и Боровой. У меня есть собака Тузик...

— Тихо, тихо, — улыбнулась учительница. — Ладно, садись, хватит, о Тузике ты мне после расскажешь. А то я с твоими товарищами не успею познакомиться.

Так она постепенно, по алфавиту, опросила полкласса. Наконец подошла очередь новенькой.

— Морозова! — выкликнула учительница.

Со всех сторон закричали:

— Это новенькая! Елизавета Ивановна, она новенькая! Она сегодня первый раз...

Учительница внимательно посмотрела на маленькую, худенькую девочку, поднявшуюся из-за своей парты, и сказала:

— Ах, вот как?

— Елизавета Ивановна! — закричал Володька Бессонов, поднимая руку.

— Ну что? — сказала учительница.

— Елизавета Ивановна, эта девочка новенькая. Её зовут Морозова. Я её сегодня первый увидел...

— Да, да, — сказала Елизавета Ивановна. — Мы уже слышали об этом. Ну что ж, Морозова, — обратилась она к новенькой, — расскажи и ты нам о себе.

Это будет интересно не только мне, но и твоим новым товарищам.

Новенькая тяжело вздохнула и посмотрела куда-то в сторону, в угол.

— Меня зовут Валя, — сказала она. — Мне будет скоро двенадцать лет. Я родилась у Киеви и всё время там жила — с папой и с мамой. А потом... — Тут она запнулась и совсем тихо, одними губами сказала: — Потом мой папа...

Что-то мешало ей говорить.

Учительница вышла из-за стола.

— Хорошо, Морозова, — сказала она, — хватит. Ты после расскажешь.

Но было уже поздно. У новенькой задрожали губы, она повалилась на парту и громко, на весь класс, заплакала.

Ребята повскакали со своих мест.

— Что с тобой? Морозова! — крикнула учительница.

Новенькая не отвечала. Она уткнулась лицом в сложенные на парте руки и делала всё, чтобы сдержать слёзы, но, как ни старалась, как ни сжимала зубы, слёзы всё текли и текли, и плакала она всё громче и всё безутешнее.

Учительница подошла к ней и положила руку ей на плечо.

— Ну, Морозова, — сказала она, — милая, ну, успокойся...

— Елизавета Ивановна, может быть, она больная? — сказала ей Лиза Кумачова.

— Нет, — ответила учительница.

Лиза взглянула на неё и увидела, что учительница стоит, закусив губу, и что глаза у неё стали мутные, и что она тяжело и порывисто дышит.

— Морозова... не надо, — сказала она и погладила новенькую по голове.

В это время за стеной зазвенел звонок, и учительница, ни слова не сказав, повернулась, подошла к своему столу, взяла портфель и быстро вышла из класса.



Новенькую со всех сторон окружили. Стали её тереть, уговаривать, успокаивать. Кто-то побежал в коридор за водой, и когда она, стуча зубами, сделала несколько глотков из жестяной кружки, она успокоилась немножко и даже сказала «спасибо» тому, кто ей принёс воду.

— Морозова, ты что? Что с тобой? — спрашивали вокруг.

Новенькая не отвечала, всхлипывала, глотала слёзы.

— Да что с тобой? — не отставали ребята, наседа со всех сторон на парту.

— Ребята, уйдите! — отталкивала их Лиза Кумачова. — Ну как вам не стыдно! Мало ли... может быть, у неё кто-нибудь умер.

Эти слова подействовали и на ребят и на новень-

кую. Новенькая опять повалилась лицом на парту и ещё громче заплакала, а ребята смутились, замолчали и стали понемногу расходиться.

Когда после звонка Елизавета Ивановна снова появилась в классе, Морозова уже не всхлипывала, только изредка шмыгала носом и сжимала в руке маленький, промокший до последней ниточки платок.

Учительница ей ничего больше не сказала и сразу же приступила к уроку.

Вместе со всем классом новенькая писала диктовку. Собирая тетради, Елизавета Ивановна остановилась около её парты и негромко спросила:

— Ну как, Морозова?

— Хорошо, — пробурчала новенькая.

— Может быть, тебе лучше всё-таки пойти домой?

— Нет, — сказала Морозова и отвернулась.

Больше за весь день Елизавета Ивановна к ней не обращалась и не вызывала её ни на русском, ни на арифметике. Товарищи тоже оставили её в покое. В конце концов, что тут такого особенно интересного в том, что маленькая девочка заплакала на уроке? О ней просто забыли. Только Лиза Кумачова почти каждую минуту спрашивала у неё, как она себя чувствует, и новенькая или говорила ей «спасибо», или ничего не отвечала, а только кивала головой.

Кое-как досидела она до конца уроков, и не успел отзвенеть последний звонок, как она торопливо собрала свои книжки и тетради, затянула их ремешком и побежала к выходу.

У вешалки, постукивая номерком о прилавок, уже стоял Володька Бессонов.

— Вы знаете, нянечка, — говорил он, — у нас в классе новенькая. Её зовут Морозова. Она с Украины приехала. С Восточной... Вот она! — сказал он, увидев Морозову. Потом посмотрел на неё, сморщил нос и сказал: — Что, плакса-вакса, не удалось обскакать? Я всё-таки первый ухожу. Да-с...

Новенькая взглянула на него с удивлением, а он прищёлкнул языком, повернулся на каблуках и стал

натягивать пальто — как-то по-особенному, всовывая руки в оба рукава сразу.

Из-за Володьки новенькой не удалось уйти незамеченной из школы. Пока она одевалась, в раздевалке набился народ.

Застёгивая на ходу коротенькое пальтецо с белым заячьим воротником, она вышла на улицу. Почти следом за ней выбежала на улицу Лиза Кумачова.

— Морозова, тебе в какую сторону? — сказала она.

— Мне — сюда, — показала налево новенькая.

— Ой, по пути, значит, — сказала Лиза, хотя идти ей нужно было совсем в другую сторону. Просто ей очень хотелось поговорить с новенькой.

— Ты на какой улице живёшь? — спросила она, когда они дошли до угла.

— А что? — спросила новенькая.

— Ничего... Просто так.

— На Кузнечном, — сказала новенькая и зашагала быстрее.

Лиза еле-еле поспевала за ней.

Ей очень хотелось как следует расспросить новенькую, но она не знала, с чего начать.

— Правда, Елизавета Ивановна хорошенькая? — сказала она.

Новенькая помолчала и спросила:

— Это какая Елизавета Ивановна? Учительница?

— Да. Правда, она чүдная?

— Ничего, — пожала плечами новенькая.

Здесь, на улице, в своём лёгком пальтишке она казалась ещё меньше, чем в классе. Нос и всё лицо у неё на морозе страшно покраснели. Лиза решила, что лучше всего заговорить для начала о погоде.

— У вас что, на Украине, теплее или холоднее? — сказала она.

— Трохи теплей, — сказала новенькая. Вдруг она убавила шаг, посмотрела на свою спутницу и сказала: — Скажи, это очень глупо, що я так ревела сегодня у классе?

— Ну, почему? — пожалала плечами Лиза. — У нас тоже девочки плачут... А ты почему плакала, что у тебя случилось, а?

Она думала почему-то, что новенькая ей не ответит. Но та посмотрела на Лизу и сказала:

— У меня папа пропал.

Лиза даже остановилась от удивления.

— Как пропал? — сказала она.

— Он лётчик, — сказала новенькая.

— А он где — в Киеве пропал?

— Нет, здесь, на фронте...

Лиза открыла рот:

— Он что у тебя — на войне?

— Ну да, конечно, — сказала новенькая, и Лиза, посмотрев на неё, увидела, что у неё в глазах опять блестят слёзы.

— А как же он пропал?

— Ну, как вообще на войне пропадают. Улетел, и никто не знает, что с ним. Одиннадцать дней от него писем не было.

— Может быть, некогда ему? — неуверенно сказала Лиза.

— Ему и всегда некогда, — сказала новенькая. — А он всё-таки в декабре оттуда восемь листиков прислал...

— Да, — сказала Лиза и покачала головой. — А вы когда, давно из Киева приехали?

— Мы сразу, вместе с ним приехали, як только война началась — на третий день.

— И мама твоя приехала?

— Конечно.

— Ох, наверно, она тоже волнуется! — сказала Лиза. — Плачет, наверно, да?

— Нет, — сказала новенькая. — Моя мама умеет не плакать... — Она посмотрела на Лизу, сквозь слезы усмехнулась и сказала: — А я вот не умию...

Лиза хотела сказать ей что-нибудь хорошее, тёплое, утешительное, но в эту минуту новенькая остановилась, протянула ей руку и сказала:

— Ну, до свиданья, теперь я одна пойду.

— Почему? — удивилась Лиза. — Это ж ещё не Кузнечный. Я тебя провожу.

— Нет, нет, — сказала новенькая и, торопливо пожав Лизину руку, побежала дальше одна.

Лиза видела, как она свернула за угол — в Кузнечный переулок. Из любопытства Лиза тоже дошла до угла, но когда она заглянула в переулок — новенькой там уже не было.

* * *

На следующее утро Валя Морозова пришла в школу очень поздно, перед самым звонком. Когда она появилась в классе, там сразу стало очень тихо, хотя за минуту до этого стоял такой гвалт, что в окнах звенели стёкла, а мёртвые бабочки в классной коллекции шевелили крылышками, как живые. По тому, как участливо и жалостливо все на неё посмотрели, новенькая поняла, что Лиза Кумачова уже успела рассказать о вчерашнем их разговоре на улице. Она покраснела, смутилась, пробормотала «Здравствуйте», и весь класс, как один человек, ответил ей:

— Здравствуй, Морозова!

Ребятам, конечно, было очень интересно узнать, что у неё слышно нового и нет ли известий от отца, но никто не спросил у неё об этом, и только Лиза Кумачова, когда новенькая уселась рядом с ней за парту, негромко сказала:

— Что, нет?

Морозова покачала головой и глубоко вздохнула.

За ночь она ещё больше осунулась и похудела, но, как и вчера, жиденькие белокурые косички её были тщательно заплетены, и в каждой из них болтался зелёный шёлковый бантик.

Когда зазвенел звонок, к парте, где сидели Морозова и Кумачова, подошёл Володька Бессонов.

— Здравствуй, Морозова. С добрым утром, — сказал он. — Сегодня погода хорошая. Двадцать два градуса только. А вчера двадцать девять было.

— Да, — сказала Морозова.

Володька постоял, помолчал, почесал затылок и сказал:

— А что, интересно, Киев — большой город?

— Большой.

— Больше Ленинграда?

— Меньше.

— Интересно, — сказал Володька.

Потом он ещё помолчал и сказал:

— А как, интересно, будет по-украински собака? А?

— А что? — сказала Морозова. — Так и будет — собака.

— Гм! — сказал Володька. Потом он вдруг тяжело вздохнул, покраснел, посопел носом и сказал: — Ты... это... как его... не сердись, что я тебя вчера плаксоиваксой назвал.

Новенькая улыбнулась и ничего не ответила. А Володька ещё раз шмыгнул носом и отправился к своей парте. Через минуту Морозова услышала его звонкий, захлебывающийся голос:

— Ребята, вы знаете, как по-украински будет собака? Не знаете? А я знаю...

— Ну, как же, интересно, будет по-украински собака?

Володька оглянулся. В дверях, с портфелем подмышкой, стояла Елизавета Ивановна, новая учительница.

— Собака — собака и будет, Елизавета Ивановна, — сказал Володька, поднимаясь вместе с другими навстречу учительнице.

— Ах, вот как? — улыбнулась учительница. — А я думала, как-нибудь поинтереснее. Здравствуйте, товарищи. Садитесь, пожалуйста.

Она положила на столик портфель, поправила на затылке волосы и опять улыбнулась:

— Ну, как поживают наши уроки?

— Ничего, Елизавета Ивановна, спасибо! Живы, здоровы! — закричал Володька.

— А это мы сейчас увидим, — сказала учительница, раскрывая классный журнал.

Взгляд её пробежал по списку учеников. Все, кто не очень уверенно чувствовали себя в этот день в арифметике, съёжились и насторожились, только Володька Бессонов нетерпеливо подпрыгивал на своей задней парте, мечтая, как видно, что его и тут вызовут первым.

— Морозова, к доске! — сказала учительница.

Почему-то по классу пробежал ропот. Всем показалось, наверно, что это не очень-то хорошо, что вызывают Морозову. Можно было бы сегодня её и не беспокоить.

— Отвечать можешь? — спросила у новенькой учительница. — Уроки выучила?

— Выучила. Могу, — чуть слышно ответила Морозова и пошла к доске.

Отвечала она урок очень плохо, путалась и сбивалась, и Елизавета Ивановна несколько раз обращалась за помощью к другим. И всё-таки не отпускала её и держала у доски, хотя все видели, что новенькая еле стоит на ногах, и что мел у неё в руке дрожит, и цифры на доске прыгают и не хотят стоять прямо.

Лиза Кумачова готова была расплакаться. Она не могла спокойно смотреть, как бедная Валя Морозова в десятый раз выписывает на доске неправильное решение, стирает его и пишет снова, и опять стирает, и опять пишет. А Елизавета Ивановна смотрит на неё, качает головой и говорит:

— Нет, неправильно. Опять неправильно.

«Ах, — думала Лиза, — если бы Елизавета Ивановна знала! Если б она знала, как тяжело сейчас Вале! Она бы отпустила её. Она бы не стала её мучить».

Ей хотелось вскочить и закричать:

«Елизавета Ивановна, хватит! Довольно!..»

Наконец новенькой удалось написать правильное решение. Учительница отпустила её и поставила в журнале отметку.

— Теперь попросим к доске Бессонова, — сказала она.

— Так и знал! — закричал Володька, вылезая из-за своей парты.

— А уроки ты знаешь? — спросила учительница. — Задачи решил? Не трудно было?

— Хе! Легче пуха и пера, — сказал Володька, подходя к доске. — Я, вы знаете, за десять минут все восемь штук решил.

Елизавета Ивановна дала ему задачу на это же правило. Володька взял мел и задумался. Так он думал минут пять по меньшей мере. Он вертел в пальцах огрызок мела, писал в уголке доски какие-то малюсенькие цифры, стирал их, чесал нос, чесал затылок.

— Ну, как же? — не выдержала наконец Елизавета Ивановна.

— Минуточку, — сказал Володька. — Минуточку... я сейчас... Как же это?

— Садись, Бессонов, — сказала учительница.

Володька положил мел и, ни слова не говоря, вернулся на своё место.

— Видали! — обратился он к ребятам. — Каких-нибудь пять минуток у доски постоял — и целую двойку заработал.

— Да, да, — сказала Елизавета Ивановна, оторвавшись от журнала. — Одним словом, легче пуха и пера...

Ребята долго смеялись над Володькой. Смеялась и Елизавета Ивановна, и сам Володька. И даже новенькая улыбалась, но видно было, что ей не смешно, что улыбается она только из вежливости, за компанию, а на самом деле ей не смеяться, а плакать хочется... И, взглянув на неё, Лиза Кумачова поняла это и первая перестала смеяться.

В перемену несколько девочек собрались в коридоре у кипяточного бака.

— Вы знаете, девочки, — сказала Лиза Кумачова, — я хочу поговорить с Елизаветой Ивановной. Надо ей рассказать про новенькую... Чтобы она с ней не

так строго. Ведь она не знает, что у Морозовой такое несчастье.

— Пойдёмте поговорим с ней, — предложила Шмулинская.

И девочки гурьбой побежали в учительскую.

В учительской рыжая Марья Васильевна, из четвёртого «А», разговаривала по телефону.

— Да, да... хорошо... да, — кричала она в телефонную трубку и, кивая, как утка, головой, без конца повторяла: — Да... да... да... да... да... да... Вам что, ребята? — сказала она, оторвавшись на минуту от трубки.

— Елизаветы Ивановны тут нет? — спросили девочки.

Учительница показала головой на соседнюю комнату.

— Елизавета Ивановна! — крикнула она. — Вас ребята спрашивают.

Елизавета Ивановна стояла у окна. Когда Кумачова и другие вошли в комнату, она быстро повернулась, подошла к столу и склонилась над грудой тетрадок.

— Да? — сказала она, и девочки увидели, что она торопливо вытирает платком глаза.

От неожиданности они застряли в дверях.

— Что вы хотели? — сказала она, внимательно перелистывая тетрадку и что-то разглядывая там.

— Елизавета Ивановна, — сказала, выступая вперёд, Лиза, — мы хотели... это... мы хотели поговорить относительно Вали Морозовой.

— Ну? Что? — сказала учительница и, оторвавшись от тетрадки, внимательно посмотрела на девочек.

— Вы знаете, — сказала Лиза, — ведь у неё отец...

— Да, да, девочки, — перебила её Елизавета Ивановна. — Я знаю об этом. Морозова очень страдает. И это хорошо, что вы о ней заботитесь. Не надо только показывать, что вы её жалеете и что она несчастнее других. Она очень слабая, болезненная... в августе у неё был дифтерит. Надо, чтобы она поменьше думала

о своём горе. Сейчас о своём много думать нельзя — не время. Ведь у нас, милые мои, самое ценное, самое дорогое в опасности — наша Родина. А что касается Вали — будем надеяться, что отец её жив.

Сказав это, она опять склонилась над тетрадкой.

— Елизавета Ивановна, — сказала, засопев, Шмулинская, — а вы почему плачете?

— Да, да, — сказали, окружив учительницу, остальные девочки. — Что с вами, Елизавета Ивановна?

— Я? — повернулась к ним учительница. — Да что с вами, голубушки! Я не плачу. Это вам показалось. Это, наверно, с мороза у меня глаза заслезились. И потом, здесь так накурено...

Она помахала рукой около своего лица.

Шмулинская понюхала воздух. В учительской табак не пахло. Пахло сургучом, чернилами, чем угодно — только не табаком.

В коридоре затрещал звонок.

— Ну, шагом марш! — весело сказала Елизавета Ивановна и распахнула дверь.

В коридоре девочки остановились и переглянулись.

— Плакала, — сказала Макарова.

— Ну, факт, что плакала, — сказала Шмулинская. — И не накурено ни чуточки. Я даже воздух понюхала.

— Вы знаете, девочки, — сказала, подумав, Лиза, — я думаю, что у неё тоже какое-нибудь несчастье.

После этого Елизавету Ивановну никогда больше не видели с заплаканными глазами. И в классе, на уроках, она всегда была весёлая, много шутила, смеялась, а в большую перемену даже играла с ребятами во дворе в снежки.

К Морозовой она относилась так же, как и к остальным ребятам, задавала ей на дом не меньше, чем другим, и отметки ставила без всякой поправки.

Училась Морозова неровно: то отвечала на «отлично», то вдруг подряд получала несколько «плохо». И все понимали, что это не потому, что она лентяйка или неспособная, а потому, что, наверно, дома она вчера весь вечер проплакала и мама её, наверно, плакала, и — где ж тут заниматься?

А в классе Морозову тоже никогда больше не видели плачущей. Может быть, это потому, что никто никогда не заговаривал с ней об её отце, даже самые любопытные девочки, даже Лиза Кумачова. Да и что было спрашивать? Если бы отец её вдруг нашёлся, она бы и сама, наверно, сказала, да и говорить не надо — по глазам было бы видно.

Только один раз Морозова не выдержала. Это было в начале февраля. В школе собирали подарки для посылки бойцам на фронт. После уроков, уже в сумерках, собрались ребята в классе: шили мешочки, набивали их конфетами, яблоками и папиросами. Валя Морозова тоже работала вместе со всеми. И вот тут, когда она зашивала один из мешочков, она заплакала. И несколько слезинок капнуло на этот парусиновый мешок. И все это увидели и поняли, что, наверно, в эту минуту Валя подумала об отце. Но никто ей ничего не сказал. И скоро она перестала плакать.

А на другой день Морозова не пришла в школу. Всегда она приходила одной из первых, а тут уже прозвенел звонок, и все расселись по своим местам, и уже Елизавета Ивановна показалась в дверях, а её всё не было.

Учительница, как всегда, весело и приветливо поздоровалась с классом, села за столик и принялась перелистывать журнал.

— Елизавета Ивановна, — крикнула ей с места Лиза Кумачова, — вы знаете, почему-то Морозовой нет...

Учительница оторвалась от журнала.

— Морозова сегодня не придёт, — сказала она.

— Как не придёт? Почему не придёт? — слышалось со всех сторон.

— Морозова заболела, — сказала Елизавета Ивановна.

— А что? Откуда вы знаете? Что, разве мама её приходила?

— Да, — сказала Елизавета Ивановна, — приходила мама.

— Елизавета Ивановна! — закричал Володька Бессонов. — Может быть, у неё отец нашёлся?!

— Нет, — покачала головой Елизавета Ивановна. И сразу же заглянула в журнал, захлопнула его и сказала: — Баринovu Тамару прошу к доске.

* * *

На другой день Морозова тоже не пришла. Лиза Кумачова и ещё несколько девочек решили после уроков пойти её навестить. В большую перемену они подошли в коридоре к учительнице и сказали, что хотели бы навестить больную Морозову, нельзя ли узнать её адрес.

Елизавета Ивановна подумала минутку и сказала:

— Нет, девочки... У Морозовой, кажется, ангина, а это опасно. Не стоит к ней ходить.

И, ничего больше не сказав, пошла в учительскую.

А следующий день был выходной.

Накануне Лиза Кумачова очень долго провозилась с уроками, легла позже всех и собиралась как следует поспать — часов до десяти или до одиннадцати. Но было ещё совсем темно, когда её разбудил оглушительный звонок на кухне. В полусне она слышала, как мать открывает дверь, потом услышала какой-то знакомый голос и не сразу могла сообразить, чей это голос.

Захлёбываясь и проглатывая слова, кто-то громко говорил на кухне:

— У нас в классе есть девочка. Она с Украины приехала. Её зовут Морозова...

«Что такое? — подумала Лиза. — Что случилось?»

Второпях она натянула задом наперёд платье, сунула ноги в валенки и выбежала на кухню.

Размахивая руками, Володька Бессонов что-то объяснял Лизиной маме.

— Бессонов! — окликнула его Лиза.

Володька даже не сказал «с добрым утром».

— Кумачова, — кинулся он к Лизе, — ты не знаешь, как у Морозовой отца зовут?

— Нет, — сказала Лиза. — А что такое?

— Он не капитан?

— Не знаю. А что? В чём дело?

Володька прищёлкнул языком, покачал головой.

— Плохо, если не капитан, — сказал он.

— Да что такое? — чуть не закричала Лиза.

— Понимаешь, — сказал Володька, — у меня есть собака. Её зовут Тузик. Я её каждый выходной вожу гулять. Утром.

— Какой Тузик? — ничего не понимая, спросила Лиза.

— Тузик. Собака. Ну, не в этом дело. Одним словом, я её повёл гулять. А на улице радио. И передают Указ. Понимаешь? О награждении бойцов и командиров. Я слушаю и вдруг слышу: за проявленную доблесть и так далее — присвоить звание Героя Советского Союза командиру эскадрильи капитану Морозову Ивану... и какое-то отчество, я только не разобрал, трудное какое-то.

— Командиру эскадрильи? Правда? — сказала Лиза.

— Вот в том-то и дело... Я думаю, может, это он? Ведь он лётчик?

— Ну да. Ну конечно, — сказала Лиза. — Ой, как бы узнать, как его зовут?

— Я ж тебе говорю — Иван зовут... забыл только отчество... Фик-тилис-тович, кажется.

— Филимонович, может быть? — сказала Лизина мама.

— Нет, — сказал Володька, — Фиктилистович.

— А может, это не он? — сказала Лиза.

— А вы к этой — к Морозовой сбегайте, — посоветовала мать. — Чего ж лучше-то. Вот и узнаете.

— Я ж её адреса не знаю, — чуть не плача, сказала Лиза.

— Как? — испугался Володька. — Не ври! Не знаешь, где она живёт?

— Нет, — сказала Лиза. — Знаю только, что в Кузнечном переулке, в первом или во втором доме от угла.

— Эх! — сказал Володька. — А я-то, дурак, бежал, даже Тузика на улице бросил. Я думал, ты знаешь. Ведь вы же подружки...

— Знаю только, что на Кузнечном, — растерянно повторила Лиза.

— На Кузнечном? — подумав, переспросил Володька. — Говоришь, второй дом от угла?

— Да. Второй или первый. Или, может быть, третий...

— Может быть, двадцать третий? — рассердился Володька. — А ну, одевайся. Побежали. Может, найдём...

Через десять минут они уже были в Кузнечном переулке.

— Под воротами есть такие доски, — говорил Володька. — Деревянные. Там написано, где какой жилец живёт. Будем искать Морозовых.

Они обошли пять или шесть домов, проглядели все доски, и нигде Морозовых не было.

Володька уж стал ругаться и говорить, что, наверно, Лиза путает что-нибудь и что напрасно он оставил на улице Тузика.

Он уже хотел на всё плюнуть и бежать разыскивать своего Тузика, как вдруг Лиза схватила его за руку.

— Бессонов, смотри, — сказала она, — Елизавета Ивановна идёт.

Володька посмотрел и увидел, что по улице действительно идёт Елизавета Ивановна, их классная воспитательница. Они побежали ей навстречу и так разлетелись, что чуть не сбили её с ног.

— Елизавета Ивановна, здравствуйте, с добрым



утром! — заговорили они в один голос.

Учительница испуганно попятилась.

— Здравствуйте, ребята, — сказала она.

— Елизавета Ивановна, — не дав ей опомниться, заговорил Володька, — вы не знаете случайно, где Валя Морозова живёт?

— А что такое? — спросила учительница.

— Ой, вы бы знали! — сказала Лиза. — Нам, — прямо я сказать не могу, — до чего её нужно видеть!..

— Елизавета Ивановна! Вы же знаете, наверно? — сказал Володька.

— Да, — сказала, подумав, учительница. — Знаю. Морозова здесь, вот в этом кирпичном доме, живёт.

— И квартиру знаете?

— И квартиру знаю, — сказала учительница. — А в чём дело?

— Вы понимаете, Елизавета Ивановна, — сказала Лиза, — у неё, кажется, отец нашёлся.

— У кого? — сказала учительница.

— У Вали.

И тут ребята увидели, что Елизавета Ивановна побледнела, как снег, и губы у неё задёргались — не то она хочет смеяться, не то плакать.

— Что? — сказала она. — Что вы говорите?

Ребята, путаясь и перебивая друг друга, рассказа-

ли ей о том, что передавали сегодня утром по радио.

Когда дело дошло до отчества капитана Морозова, Володька опять застрял.

— Филикт... — начал он. — Или Феликст...

— Феоктистович, — сказала учительница.

— Правильно! Во-во! — закричал Володька. — Феоктелистович! Елизавета Ивановна, а откуда вы знаете?..

Учительница закрыла рукой глаза.

— Идёмте, — сказала она. — Идёмте скорей к Морозовой.

И она побежала так быстро, что ребята едва успевали за ней, а прохожие останавливались и смотрели ей вслед.

— Сюда, — сказала она ребятам и свернула в ворота большого кирпичного дома, второго от угла.

— Ну что? Я тебе говорила, — сказала Володьке Лиза.

— Елизавета Ивановна, — сказал Володька, — мы уже тут были. Тут никаких Морозовых нет.

— Идёмте, идёмте, ребята, — сказала Елизавета Ивановна, не останавливаясь.

— Елизавета Ивановна, ведь правда? — сказала Лиза, когда они уже поднимались по чёрной лестнице. — Ведь, может, это и в самом деле Валин отец?

— Да, милая, — сказала Елизавета Ивановна. — Это он. Иван Феоктистович Морозов, капитан, командир эскадрильи. Это Валин отец.

На площадке четвёртого этажа учительница остановилась, вынула из сумочки ключ и открыла этим ключом французский замок. Ребята не успели удивиться, как она распахнула дверь и сказала:

— Пожалуйста, милости просим.

В коридоре было темно.

— Осторожно, — сказала Елизавета Ивановна, — здесь сундук.

И хотя она это сказала, Володька всё-таки успел наткнуться на этот сундук. От неожиданности он вскрикнул.

— Мама, это ты? — послышался за дверью тоненький голосок, и ребята узнали голос Вали Морозовой.

— Я, — сказала Елизавета Ивановна, распахнув дверь.

— Что ты так скоро? Уже достала?

— Нет, доченька, — сказала Елизавета Ивановна. — Я не достала газету. Но зато посмотри, какую я тебе привела замечательную живую газету...

Валя Морозова лежала в постели. Приподнявшись над подушкой, она испуганно и смущённо смотрела на Володьку и Лизу, которые, не менее смущённые и не менее испуганные, застряли в дверях.

Минуту Валя смотрела на них, потом вдруг вскрикнула и юркнула с головой под одеяло.

Елизавета Ивановна подбежала к её кровати и стала стягивать с неё одеяло.

— Вылезай, вылезай! — сказала она. — Хватит нам прятаться. Горевали мы в одиночку, а радоваться будем вместе...

И она так громко засмеялась, что Валя не выдержала и высунулась из-под одеяла.

— Что? — сказала она.

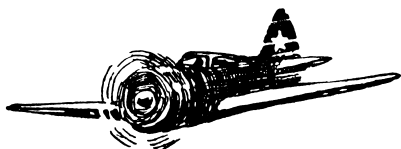
Елизавета Ивановна опустилась на колени около её кровати и обняла девочку.

— Валечка! Папа жив, — сказала она.

Несколько секунд Валя внимательно смотрела на неё, потом уронила голову в подушку и заплакала.

А когда она оторвалась от подушки, ребята увидели, что она уже не плачет, а смеётся. И тут, когда она засмеялась, и Володька и Лиза в первый раз заметили, что она очень хорошенькая и что у неё белые зубы и очень красивые золотистые волосы, а самое главное, что она, как две капли воды, похожа на Елизавету Ивановну.

Ребята удивились, хотя ничего удивительного, конечно, в этом не было.





ЧЕСТНОЕ СЛОВО

Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живёт, и кто его папа и мама. В потёмках я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был в веснушках и что штанишки у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на таких лялочках, которые перекидываются через плечи и застёгиваются где-то на животе.

Как-то летом я зашёл в садик — я не знаю, как он называется, — на Васильевском острове, около белой церкви. Была у меня с собой интересная книга, я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил вечер. Когда в глазах у меня зарябило и читать стало совсем трудно, я захлопнул книгу, поднялся и пошёл к выходу.

Сад уже опустел, на улицах мелькали огоньки, и где-то за деревьями звенел колокольчик сторожа.

Я боялся, что сад закроется, и шёл очень быстро.

Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то в стороне, за кустами, кто-то плачет.

Я свернул на боковую дорожку — там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах, — какая-то будка или сторожка. А около её стены стоял маленький мальчик, лет семи или восьми, и, опустив голову, громко и безутешно плакал.

Я подошёл и окликнул его:

— Эй, что с тобой, мальчик?

Он сразу, как по команде, перестал плакать, поднял голову, посмотрел на меня и сказал:

— Ничего.

— Как это — ничего? Тебя кто обидел?

— Никто.

— Так чего ж ты плачешь?

Ему ещё трудно было говорить, он ещё не проглотил всех слёз, ещё всхлипывал, икал, шмыгал носом.

— Давай пошли, — сказал я ему. — Смотри, уже поздно, уже сад закрывается.

И я хотел взять мальчика за руку. Но мальчик поспешно отдёргнул руку и сказал:

— Не могу.

— Что — не можешь?

— Идти не могу.

— Как? Почему? Что с тобой?

— Ничего, — сказал мальчик.

— Ты что, нездоров?

— Нет, — сказал он, — здоров.

— Так почему ж ты идти не можешь?

— Я часовой, — сказал он.

— Как — часовой? Какой часовой?

— Ну что вы — не понимаете? Мы играем.

— Да с кем же ты играешь?

Мальчик помолчал, вздохнул и сказал:

— Не знаю.

Тут я, признаться, подумал, что, наверно, мальчик всё-таки болен и что у него голова не в порядке.

— Послушай, — сказал я ему, — что ты говоришь? Как же это так: играешь и не знаешь — с кем?

— Да, — сказал мальчик, — не знаю. Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят: «Хочешь играть в войну?» Я говорю: «Хочу». Стали играть. Мне говорят: «Ты сержант». Один большой мальчик — он маршал был... Он привёл меня сюда и говорит: «Тут у нас пороховой склад. А ты будешь часовой. Стой здесь, пока я тебя не сменю». Я говорю: «Хорошо». А он говорит: «Дай честное слово, что не уйдёшь».

— Ну?

— Ну, я и сказал: «Честное слово, не уйду».

— Ну и что?

— Ну и вот: стою, стою, а они не идут.

— Так, — улыбнулся я. — А давно они тебя сюда поставили?

— Ещё светло было.

— Так где же они?

Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал:

— Я думаю, они ушли.

— Как — ушли?

— Забыли.

— Так чего ж ты тогда стоишь?

— Я честное слово сказал...

Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет и что мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, что бы ни случилось — хоть лопни. А игра это или не игра — всё равно.

— Вот так история получилась! — сказал я ему. — Что же ты будешь делать?

— Не знаю, — сказал мальчик и опять заплакал.

Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но что я мог сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили его на караул, взяли с него честное

слово, а сами убежали домой? Да где же их сейчас найдёшь, этих мальчишек! Они уж небось поужинали и спать легли, и десятые сны видят.

А человек на часах стоит. В темноте. И голодный небось.

— Ты, наверно, есть хочешь? — спросил я у него.

— Да, — сказал он, — хочу.

— Ну, вот что, — сказал я, подумав: — ты вали беги домой, поужинай, а я пока за тебя постою тут.

— Да, — сказал мальчик, — а это можно разве?

— Почему же нельзя?

— Вы же не военный.

Я почесал затылок и сказал:

— Правильно. Ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с караула. Это может сделать только военный, только начальник...

И тут мне вдруг в голову пришла мысль. Я подумал, что если освободить мальчика от честного слова, снять его с караула может только военный, так в чём же дело? Надо, значит, идти искать военного.

Я ничего не сказал мальчику, только сказал: «Подожди минутку», а сам, не теряя времени, побежал к выходу.

Ворота ещё не были закрыты, ещё сторож ходил где-то, в самых дальних уголках сада, и дозванивал там в свой колокольчик.

Я стал у ворот и долго поджидал, не пройдёт ли мимо какой-нибудь военный: какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой красноармеец. Но, как назло, ни один военный не показывался на улице.

Вот было мелькнули на другой стороне улицы какие-то чёрные шинели; я обрадовался, подумал, что это военные моряки, перебежал улицу и увидел, что это не моряки, а мальчишки-ремесленники. Прошёл высокий железнодорожник в очень красивой шинели с зелёными нашивками. Но и железнодорожник с его замечательной шинелью мне тоже был в эту минуту ни к чему.

Я уже хотел несолоно хлебавши возвращаться в

сад, как вдруг увидел — за углом, на трамвайной остановке — защитную командирскую фуражку с синим кавалерийским околышем. Кажется, ещё никогда в жизни я так не радовался, как обрадовался в эту минуту. Сломая голову я побежал к остановке. И вдруг, не успев добежать, вижу: к остановке подходит трамвай и командир, молодой кавалерийский майор, вместе с остальной публикой собирается протискиваться в вагон.

Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку и закричал:

— Товарищ майор! Подождите! Товарищ майор!..

Он оглянулся, с удивлением на меня посмотрел и сказал:

— В чём дело?

— Видите ли, в чём дело, — сказал я. — Тут в саду, около будки, на часах стоит мальчик. Он не может уйти, он дал честное слово... Он очень маленький... Он плачет...

Командир посмотрел на меня с испугом. Наверно, он тоже подумал, что я болен и что у меня голова не в порядке.

— При чём же тут я? — сказал он.

Трамвай его ушёл, и он смотрел на меня очень сердито.

Но когда я немножко подробнее объяснил ему, в чём дело, он не стал раздумывать и сразу же сказал:

— Идёмте, идёмте! Конечно! Что же вы мне сразу не сказали?

Когда мы подошли к саду, сторож как раз вешал на ворота замок. Я попросил его несколько минут подождать, сказал, что в саду у меня остался мальчик, и мы с майором побежали в глубину сада.

В темноте мы с трудом отыскивали белый домик.

Мальчик стоял на том же месте, где я его оставил, и опять, но на этот раз очень тихо, плакал. Я окликнул его. Он обрадовался, даже вскрикнул от радости, а я сказал:

— Ну вот, я привёл начальника.

Увидев командира, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше.

— Товарищ караульный, — сказал ему командир, — какое вы носите звание?

— Я сержант, — сказал мальчик.

— Товарищ сержант, приказываю оставить вверенный вам пост.

Мальчик помолчал, посопел носом и сказал:

— А у вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас звёздочек...

— Я майор, — сказал командир.

И тогда мальчик приложил руку к широкому козырьку своей серенькой кепки и сказал:

— Есть, товарищ майор: приказано оставить пост.

И сказал это он так звонко и так ловко, что мы оба не выдержали и расхохотались.

И мальчик тоже весело и с облегчением засмеялся.

Не успели мы втроем выйти из сада, как за нами хлопнули ворота и сторож несколько раз повернул в скважине ключ.

Майор протянул мальчику руку.

— Молодец, товарищ сержант! — сказал он. — Из тебя выйдет настоящий воин. До свиданья!

Мальчик что-то пробормотал и сказал:

— До свиданья...

А майор отдал нам обоим честь и, увидев, что опять подходит его трамвай, побежал к остановке.

Я тоже попрощался с мальчиком и пожал ему руку.

— Может быть, тебя проводить? — спросил я у него.

— Нет, я близко живу. Я не боюсь, — сказал мальчик.

Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему действительно нечего бояться. Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей.

А когда он вырастет... Ещё неизвестно, кем он будет, когда вырастет, но кем бы он ни был, можно ручаться, что это будет настоящий человек.

Я подумал так, и мне стало очень приятно, что я познакомился с этим мальчиком.

И я ещё раз крепко и с удовольствием пожал ему руку.





НА ЯЛИКЕ

Большая широкобокая лодка подходила к нашему берегу. Набитая до отказа, сидела она очень низко в воде, шла медленно, одолевая течение, и было видно, как туго и трудно погружаются в воду вёсла и с каким облегчением выскальзывают они из неё, сверкая на солнце и рассыпая вокруг себя тысячи и тысячи брызг.

Я сидел на большом тёплом и шершавом камне у самой воды, и мне было так хорошо, что не хотелось ни двигаться, ни оглядываться, и я даже рад был, что лодка ещё далеко и что, значит, можно ещё несколько минут посидеть и подумать... О чём? Да ни о чём особенном, а только о том, как хорошо сидеть, какое милое небо над головой, как чудесно пахнет водой, ракушками, смолёным деревом...

Я уже давно не был за городом, и всё меня сейчас по-настоящему радовало: и чухлый одуванчик, при-

гаившийся под пыльным зонтиком лопуха, и лёгкий, чуть слышный плеск невской волны, и белая бабочка, то и дело мелькавшая то тут, то там в ясном и прозрачном воздухе. И разве можно было в эту минуту поверить, что идёт война, что фронт совсем рядом, что он тут вот, за этими крышами и трубами, откуда изо дня в день летят в наш осаждённый город тяжёлые бомбардировщики и дальнобойные бризантные снаряды! ¹ Нет, я не хотел думать об этом, да и не мог думать — так хорошо мне было в этот солнечный июльский день.

* * *

А на маленькой пристаньке, куда должна была причалить лодка, уже набился народ. Ялик подходил к берегу, и чтобы не потерять очереди, я тоже прошёл на эти животрепещущие дощатые мостки и смешался с толпой ожидающих. Это были всё женщины, всё больше пожилые работницы. Некоторые из них уже перекинулись и переговаривались с теми, кто сидел в лодке. Там тоже были почти одни женщины, а из нашего брата только несколько командиров, один военный моряк да сам перевозчик, человек в неуклюжем брезентовом плаще с капюшоном. Я видел пока только его спину и руки в широких рукавах, которые ловко, хотя и не без натуги, работали вёслами. Лодку относил течением, но всё-таки с каждым взмахом вёсел она всё ближе и ближе подходила к берегу.

— Матвей Капитоныч, поторопись! — закричал кто-то из ожидающих.

Гребец ничего не ответил. Подводя лодку к мосткам, он чуть-чуть повернул голову, и тут я увидел его лицо. Это был мальчик лет одиннадцати-двенадцати, а может быть, и моложе. Лицо у него было худенькое, серьёзное, строгое, тёмное от загара, только бровки были смешные, детские, совершенно выцветшие, белые,

¹ Бризантные снаряды — разрывные, осколочные снаряды.

да из-под широкого козырька огромной боцманской фуражки с якорем на околыше падали на запотевший лоб такие же белобрысые, соломенные, давно не стриженные волосы.

По тому, как тепло и дружно приветствовали его у нас на пристани женщины, было видно, что мальчик не случайно и не в первый раз сидит на вёслах.

— Капитану привет! — зашумели женщины.

— Мотенька, давай, давай сюда! Заждались мы тебя.

— Мотенька, поспеши, опаздываем!

— Матвей Капитоныч, здравствуй!..

— Отойди, не мешай, бабы! — вместо ответа закричал он каким-то хриплым, простуженным баском, и в эту минуту лодка ударилась о стенку причала, качнулась и заскрипела.

Мальчик зацепил веслом за кромку мостков, кто-то из военных спрыгнул на пристань и помог ему причалить лодку.

Началась выгрузка пассажиров и посадка новых.

Маленький перевозчик выглядел очень усталым, с лица его катил пот, но он очень спокойно, без всякого раздражения, сурово и повелительно распоряжался посадкой.

— Эй, тётка! — покрикивал он. — Вот ты, с противозащитой. Садись с левого борта. А ты, с котелком, — туда... Тихо! Осторожно! Без паники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь...

Он сосчитал, сбился и ещё раз пересчитал, сколько людей в лодке.

— Довольно. Хватит! За остальными после приеду.

Оттолкнувшись веслом от пристани, он подобрал свой брезентовый балахон, уселся и стал собирать двугривенные за перевоз.

Я, помню, дал ему рубль и сказал, что сдачи не надо. Он шмыгнув носом, усмехнулся, отсчитал восемь гривен, подал их мне вместе с квитанцией и сказал:

— Если у вас лишние, так положите их лучше в сберкассу.

Потом пересчитал собранные деньги, вытащил из кармана большой старомодный кожаный кошель, ссыпал туда монеты, защёлкнул кошель, спрятал его в карман, уселся поудобнее, поплевал на руки и взялся за вёсла.

Большая, тяжёлая лодка, сорвавшись с места, легко и свободно пошла вниз по течению.

* * *

И вот, не успели мы как следует разместиться на своих скамейках, не успел наш ялик отойти и на сотню метров от берега, случилось то, чего, казалось бы, уж никак нельзя было ожидать в этот солнечный, безмятежно спокойный летний день.

Я сидел на корме. Передо мной лежала река, а за нею — Каменный остров, над которым всё выше и выше поднималось утреннее солнце. Густая зелёная грива висела над низким, отлогим берегом. Сквозь яркую, свежую листву виднелись отсюда какие-то домики, какая-то беседка с белыми круглыми колоннами, а за ними... Но нет, там ничего не было и не могло быть. Мирная жизнь спокойно, как река, текла на этой цветущей земле. Лёгкий дымок клубился над пёстрыми дачными домиками. Чешуйчатые рыбацьи сети сушились, растянутые на берегу. Белая чайка летала. И было очень тихо. И в лодке у нас тоже почему-то стало тише, только вёсла мерно стучали в уключинах да за бортом так же мерно и неторопливо плескалась вода.

И вдруг в эту счастливую, безмятежную тишину ворвался издалека звук, похожий на отдалённый гром. Лёгким гулом он прошёл по реке. И тотчас же в каждом из нас что-то ёкнуло и привычно насторожилось. А какая-то женщина, правда не очень испуганно и не очень громко, вскрикнула и сказала:

— Ой, что это, бабоньки?

В эту минуту второй, более сильный удар размашистым отзвуком прокатился по реке. Все посмотрели на

мальчика, который — кажется, один во всей лодке — не обратил никакого внимания на этот подозрительный грохот и продолжал спокойно грести.

— Мотенька, что это? — спросили у него.

— Ну что! — сказал он, не поворачивая головы. — Ничего особенного. Зенитки.

Голос у него был какой-то скучный и даже грустный, и я невольно посмотрел на него. Сейчас он казался мне почему-то ещё моложе, в нём было что-то совсем детское, младенческое: уши под большим картузом смешно оттопыривались в стороны, на загорелых щеках проступал лёгкий белый пушок, из-под широкого и жёсткого, как хомут, капюшона торчала тонкая, цыплячья шейка.

А в чистом, безоблачном небе уже бушевала гроза. Теперь уже и мне было ясно, что где-то на подступах, на фортах, а может быть, и ближе, работают наши зенитные установки. Как видно, вражеским самолётам удалось пробиться сквозь первую линию огня, и теперь они уже летели к городу. Канонада усиливалась, приближалась. Всё новые и новые батареи вступали в дело, и скоро отдельные залпы стали неразличимы — обгоняя друг друга, они сливались в один сплошной гул.

— Летит! Летит! Поглядите-ка! — закричали вдруг у нас в лодке.

Я посмотрел и ничего не увидел. Только мягкие, пушистые дымчатые клубочки таяли то тут, то там в ясном и высоком небе. Но сквозь гром зенитного огня я слышал знакомый прерывистый рокот немецкого мотора.

Гребец наш тоже мельком, искоса посмотрел на небо.

— Ага! Разведчик, — сказал он пренебрежительно.

И я даже улыбнулся — как это он быстро, с одного маха нашёл самолёт и с какой точностью определил, что самолёт этот не какой-нибудь, а именно разведчик. Я хотел было попросить его показать мне, где он

увидел этого разведчика, но тут будто огромной кувалдой ударило меня по барабанным перепонкам, я невольно зажмурился, услышал, как закричали женщины, и изо всех сил вцепился в холодный, влажный борт лодки, чтобы не полететь в воду.

* * *

Это открыли огонь зенитные батареи на Каменном острове. Уж думалось, что дальше некуда: и так уж земля и небо дрожали от этого грома и грохота, а тут вдруг оказалось, что всё это были пустяки, что до сих пор было даже очень тихо и что только теперь-то и началась настоящая музыка воздушного боя.

Ничего не скажу — было страшно. Особенно, когда в воду — и спереди и сзади, и справа и слева от лодки — начали падать осколки.

Мне приходилось уже не раз бывать под обстрелом, но всегда это случалось со мной на земле, на суше. Там, если рядом и упадёт осколок, его не видно. А тут, падая с шипеньем в воду, эти осколки поднимали за собой целые столбы воды. Это было красиво, похоже на то, как играют дельфины в тёплых морях, — но если бы это действительно были дельфины!..

Женщины в нашей лодке уже не кричали. Перепуганные, они сбились в кучу, съёжились, пригнули как можно ниже головы. А некоторые из них даже легли на дно лодки и защищали себя руками, как будто можно рукой уберечь себя от тяжёлого и раскалённого куска металла. Но ведь известно, что в такие минуты человек не умеет рассуждать. Признаться, мне тоже хотелось нагнуться, зажмуриться, спрятать голову.

Но я не мог сделать этого.

Передо мной сидел мальчик. Ни на один миг он не оставил вёсел. Так же уверенно и легко вёл он своё маленькое судно, и на лице его я не мог прочесть ни страха, ни волнения. Он только посматривал изредка то направо, то налево, то на небо, потом переводил

взгляд на своих пассажиров — и усмехался. Да, усмехался. Мне даже стыдно стало, я даже покраснел, когда увидел эту улыбку на его губах.

«Неужели он не боится? — подумал я. — Неужели ему не страшно? Неужто не хочется ему бросить вёсла, зажмуриться, спрятаться под скамейку?.. А впрочем, ведь он ещё маленький, — подумалось мне. — Он ещё не понимает, что такое смерть, поэтому небось и улыбается так беспечно и снисходительно».

Канонада ещё не кончилась, когда мы пристали к берегу. Не нужно было никого подгонять. Через полминуты лодка была уже пустая. Под дождём осколков, совсем как это бывает под настоящим проливным дождём, женщины бежали на берег и прятались под густыми шапками приземистых дубков и столетних лип.

Я вышел из лодки последним. Мальчик возился у причала, затягивая какой-то сложный морской узел.

— Послушай! — сказал я ему. — Чего ты копаешься тут? Ведь, посмотри, осколки летят...

— Чего? — переспросил он, подняв на секунду голову и посмотрев на меня не очень любезно.

— Я говорю: храбрый ты, как я погляжу...

В это время тяжёлый осколок с тупым звоном ударился о самую кромку мостков.

— А ну, проходите! — закричал на меня мальчик. — Нечего тут...

— Ишь ты какой! — сказал я с усмешкой и зашагал к берегу.

Я был обижен и решил, что не стоит и думать об этом глупом мальчишке.

Но, выйдя на дорогу, я всё-таки не выдержал и оглянулся. Мальчика на пристани уже не было. Я поискал его глазами. Он стоял на берегу, под навесом какого-то склада или сарая. Вёсла свои он тоже притащил сюда и поставил рядом.

«Ага! — подумал я с некоторым злорадством. — Всё-таки, значит, немножко побаиваешься, голубчик!»

Но, по правде сказать, мне всё ещё было немножко стыдно, что маленький мальчик оказался храбрее меня. Может быть, поэтому я не стал прятаться под деревьями, а сразу свернул на боковую дорожку и отправился разыскивать Н-скую зенитную батарею.

* * *

Дела, которые привели меня на Каменный остров, к зенитчикам, отняли у меня часа полтора-два. Обратное в город меня обещали «подкинуть» на штабной машине, прибытия которой ожидали с минуты на минуту.

В ожидании машины, от нечего делать, я беседовал с командиром батареи о всякой всячине и, между прочим, рассказал о том, как сложно я к ним добирался, и о том, как наш ялик попал в осколочный дождь.

Командир батареи, пожилой застенчивый лейтенант из запасных, почему-то вдруг очень смутился и даже покраснел.

— Да, да... — сказал он, вытирая платком лицо. — К сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз. Но что ж поделаешь! Это как раз те щепки, которые летят, когда лес рубят. Но всё-таки неприятно. Очень неприятно! Ведь бывают жертвы, свои люди гибнут. Вот как раз недели три назад тут перевозчика осколком убило.

Я, помню, даже вздрогнул, когда услышал это.

— Как — перевозчика? — сказал я. — Где? Какого?

— Да вот тут как раз, на Неве, где вы переезжали. Хороший человек был. Сорок два года работал на перевозе. И отец у него, говорят, тоже на яликах подвизался. И дед.

— А сейчас там какой-то мальчик, — сказал я.

— Ха! — улыбнулся лейтенант. — Ну как же! Мотя! Матвей Капитоныч! «Адмирал Нахимов» мы его зовём. Это сынишка того перевозчика, который погиб.

— Как! — сказал я. — Того самого, который от осколка?..

— Ну да. Именно. Того Капитон звали, а этого Матвей Капитонович. Тоже матрос бывалый. Лет ему — не сосчитать как мало, а работает — сами видели: со взрослыми потягаться может. И притом, что бы ни было, всегда на посту: и днём и ночью, и в дождь и в бурю...

— И под осколками, — сказал я.

— Да, и под осколками. Этого уж тут не избежишь! Осколочные осадки выпадают у нас, пожалуй, почаще, чем обычные, метеорологические...

Лейтенант мне ещё что-то говорил, что-то рассказывал, но я плохо слушал его. Почему-то мне вдруг страшно захотелось ещё раз увидеть Мотю.

— Послушайте, товарищ лейтенант, — сказал я поднимаясь. — Знаете, что-то ваша машина застряла. А у меня времени в обрез. Я, пожалуй, пойду.

— А как же вы? — удивился лейтенант.

— Ну что ж, — сказал я, — придётся опять на ялике.

* * *

Когда я пришёл к перевозу, ялик ещё только-только отваливал от противоположного берега. Опять он был переполнен пассажирами, и опять низкие бортики его еле-еле выглядывали из воды, но так же легко, спокойно и уверенно работали вёсла и вели его наискось по течению, поблёскивая на солнце и оставляя в воздухе светлую радужную пыль. А солнце стояло уже высоко, припекало, и было очень тихо, даже как-то особенно тихо, как всегда бывает летом после хорошего, проливного дождя.

На пристани ещё никого не было, я сидел один на скамеечке, поглядывая на воду и на приближающуюся лодку, и на этот раз мне уже не хотелось, чтобы она шла подольше, — наоборот, я ждал её с нетерпением. А лодка как будто чуяла это моё желание — шла очень

быстро, и скоро в толпе пассажиров я уже мог разглядеть белый парусиновый балахон и боцманскую фуражку гребца.

«И днём и ночью, и в дождь и в бурю», — вспомнил я слова лейтенанта.

И вдруг я очень живо и очень ясно представил себе, как здесь вот, на этом самом месте, в такой же, наверно, погожий, солнечный денёк, на этой же самой лодке, с этими же вёслами в руках погиб на своём рабочем посту отец этого мальчика. Я отчётливо представил во всех подробностях, как это случилось. Как привезли старого перевозчика к берегу, как выбежали навстречу его жена и дети — и вот этот мальчик тоже, — и какое это было горе, и как страшно стало, как потемнело у мальчика в глазах, когда какая-то чужая старуха всхлипнула, перекрестилась и сказала:

— Царство небесное!.. Помер!..

И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает теми же вёслами, которые выпали тогда из рук его отца.

«Как же он может? — подумал я. — Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные вёсла? Как может он спокойно сидеть на скамейке, на которой ещё небось не высохла кровь его отца? Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой лодке, и к вёслам, и к чёрной невской воде. Даже отдалённый орудийный выстрел должен был пугать его и холодить жестокой тоской его маленькое сердце. А ведь он улыбался. Вы подумайте только — он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали от залпов зенитных орудий!..»

Но тут мои размышления были прерваны. Весёлый женский голос звонко и раскатисто, на всю реку, прокричал за моей спиной:

— Матвей Капитоныч, поторопи-ись!..

Пока я сидел и раздумывал, на пристани уже скопилась порядочная толпа ожидающих. Опять тут было очень много женщин-работниц, было несколько воен-

ных, две или три девушки-дружинницы и молодой военный врач.

Лодка уже подходила к мосткам. Повторилось то же, что было давеча на том берегу. Ялик ударился о стенку причала, закачался и заскрипел. Женщины и на берегу и в лодке загалдели, началась посадка, и мальчик, стоя в лодке и придерживаясь веслом за борт мостков, не повышая голоса, серьёзно и деловито командовал своими пассажирами. Мне показалось, что за эти два часа он ещё больше осунулся и похудел. Тёмное от загара и от усталости лицо его блестело, он тяжело дышал. Балахон свой он расстегнул, распахнул ворот рубашки, и оттуда выглядывала светлая полоска незагорелой кожи.

Когда я входил в лодку, он посмотрел на меня, улыбнулся, показав на секунду маленькие белые зубы, и сказал:

— Что? Уж обратно?

— Да. Обратно, — ответил я и почему-то очень обрадовался — и тому, что он меня узнал, и тому, что заговорил со мной и даже улыбнулся мне.

Усаживаясь, я постарался занять место поближе к нему. Это удалось мне. Правда, пришлось кого-то не очень вежливо оттолкнуть, но когда мальчик сел на своё капитанское место, оказалось, что мы сидим лицом к лицу.

Выполнив обязанности кассира, собрав двугривенные, пересчитав их и спрятав, Мотя взялся за вёсла.

— Только не шуметь, бабы! — строго прикрикнул он на своих пассажиров.

Те слегка притихли, а мальчик уселся поудобнее, поплевал на руки, и вёсла размеренно заскрипели в уключинах, и вода так же размеренно заплескалась за бортом.

Мне очень хотелось заговорить с мальчиком. Но, сам не знаю почему, я немножко робел и не находил, с чего начать разговор. Улыбаясь, я смотрел на его серьёзное, сосредоточенное лицо и на смешные детские

бровки, на которых поблёскивали редкие светлые волосики. Внезапно он взглянул на меня, поймал мою улыбку и сказал:

— Вы чего смеётесь?

— Я не смеюсь, — сказал я немножко даже испуганно. — С чего ты взял, что я смеюсь? Просто я люблю, как ты ловко работаешь.

— Как это — ловко? Обыкновенно работаю.

— Ого! — сказал я, покачав головой. — А ты, адмирал Нахимов, я погляжу, дядя сердитый...

Он опять, но на этот раз, как мне показалось, с некоторым любопытством, взглянул на меня и сказал:

— А вы откуда знаете, что я — адмирал Нахимов?

— Ну, мало ли! Слухом земля полнится.

— Чтó, на батареях были?

— Да, на батареях.

— А!.. Тогда понятно.

— Что тебе понятно?

Он помолчал, как бы раздумывая, стоит ли вообще рассусоливать со мной, и наконец ответил:

— Командиры меня так дразнят: адмиралом. Я ведь их тут всех обслуживаю: и зенитчиков, и лётчиков, и моряков, и из госпиталей которые...

— Да, брат, работы у тебя, как видно, хватает, — сказал я. — Устаёшь здорово небось? А?

Он ничего не сказал, только пожал плечами. Что работы ему хватает и что устаёт он зверски, было и без того видно. Лодка опять шла наперекор течению, и вёсла с трудом, как в густую чёрную глину, погружались в воду.

— Послушай, Матвей Капитоныч, — сказал я помолчав, — скажи, пожалуйста, откровенно, по совести: неужто тебе давеча не страшно было?

— Это когда? Где? — удивился он.

— Ну, давеча, когда зенитки работали.

Он усмехнулся и с каким-то не то что удивлением а, пожалуй, даже с сожалением посмотрел на меня.

— Вы бы ночью сегодня поглядели, что́ было. Вот это да! — сказал он.

— А разве ты ночью тоже работал?

— Я дежурил. У нас тут на Деревообделочном он зажигалок набросал целый воз. Так мы тушили.

— Кто «мы»?

— Ну кто? Ребята.

— Так ты что — и не спал сегодня?

— Нет, спал немного.

— А ведь у вас тут частенько это бывает.

— Что? Бомбёжки-то? Конечно, часто. У нас тут вокруг — батареи. Осколки как начнут сыпаться, только беги.

— Да, — сказал я. — А ты вот, я вижу, всё-таки не бежишь.

— А мне бежать некуда, — сказал он усмехнувшись.

— Ну, а ведь честно-то, по совести — боязно всё-таки?

Он опять подумал и как-то очень хорошо, просто и спокойно сказал:

— Бойся не бойся, а уж если попадёт, так попадёт. Легче ведь не будет, если бояться?

— Это конечно, — улыбнулся я. — Легче не будет.

Мне всё хотелось задать ему один вопрос, но как-то язык не поворачивался. Наконец я решился:

— А что, Мотя, это правда, что у тебя тут недавно отец погиб?

Мне показалось, что на одно мгновение вёсла дрогнули в его руках.

— Ага, — сказал он хрипло и отвернулся в сторону.

— Его что — осколком?

— Да.

— Вот видишь...

Я не договорил. Но, как видно, он понял, о чём я хотел сказать.

Целую минуту он молчал, налегая на вёсла. Потом, так же не глядя на меня, а куда-то в сторону, хриплым,

басовитым и, как мне показалось, даже не своим голосом сказал:

— Воды бояться — в море не бывать.

— Хорошо сказано! Ну, а всё-таки — разве ты об этом не думал? Если и тебя этак же?

— Что — меня?

— Осколком.

— Тьфу, тьфу! — сказал он, сердито посмотрев на меня, и как-то лихо и замысловато, как старей, бывалый матрос, плюнул через левое плечо.

Потом, заметив, что я улыбаюсь, не выдержал, сам улыбнулся и сказал:

— Ну что ж! Конечно, могут. Всякое бывает. Могут и убить. Тогда что ж... Тогда, значит, придётся Маньке за вёсла садиться.

— Какой Маньке?

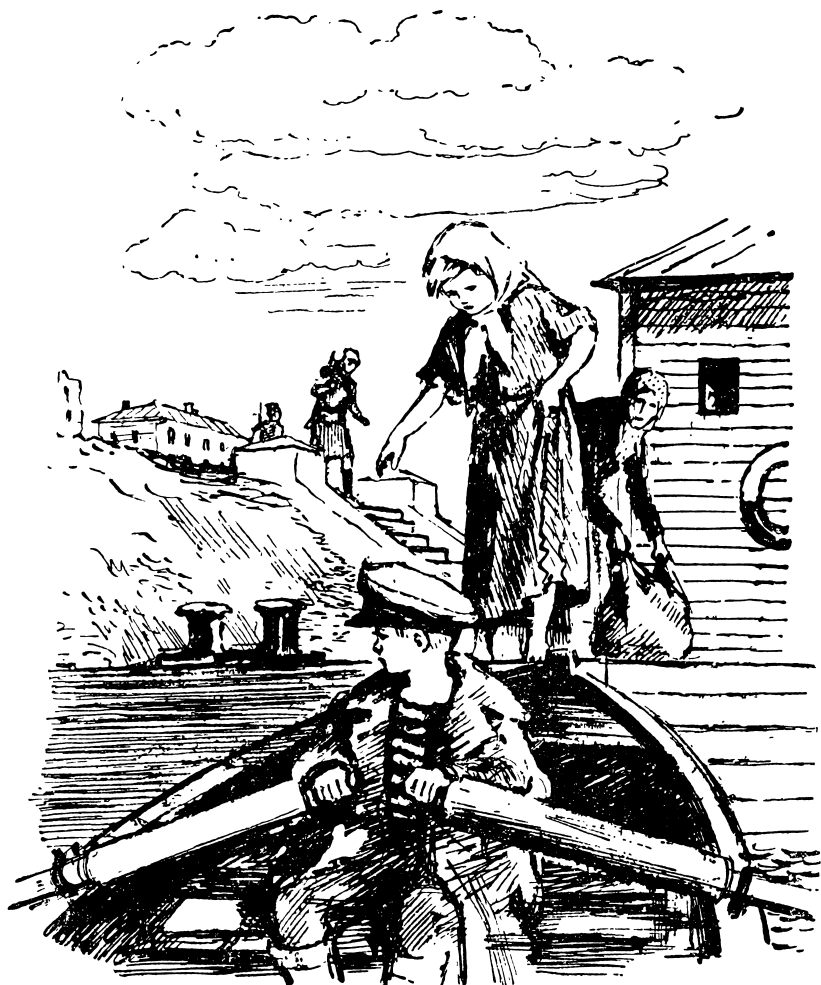
— Ну какой! Сестрёнке. Она, вы не думайте, — она хоть и маленькая, а силы-то у неё побольше, чем у другого пацанá. На спинке Неву переплывает туда и обратно.

Беседуя со мной, Мотя ни на одну минуту не оставлял управления лодкой. Она уже миновала середину реки и теперь, относимая течением в сторону, шла наискось к правому, высокому берегу. А там уже поблёскивали кое-где стёкла в сереньких дощатых домиках, из-за дранковых, толевых и железных крыш выглядывали чахлые, пыльные деревца, а над ними без конца и без края расстилалось бесцветное, бледно-голубое, как бы разбавленное молоком, северное небо.

И опять на маленькой пристани уже толпился народ, уже слышен был шум голосов, и уже кто-то кричал что-то и махал нам рукой.

— Мотя-а-а! — расслышал я и, взглядевшись, увидел, что кричит это маленькая девочка в белом платочке и в каком-то бесцветном длинном, как у цыганки, платье.

— Мотя-а-а! — кричала она, надрываясь и чуть ли не со слезами в голосе. — Живей! Чего ты копаешься там?..



Мотя и головы не повернул. Только подводя лодку к мосткам, он поглядел на девочку и спокойно сказал:

— Чего орёшь?

Девочка была действительно совсем маленькая, босая, с таким же, как у Моти, загорелым лицом и с такими же смешными выцветшими, белёсыми бровками.

— Обедать иди! — загорячилась она. — Мама ждёт, ждёт!.. Уж горох весь выкипел.

И в лодке и на пристани засмеялись. А Мотя неторопливо причалил ялик, дождался, пока сойдут на берег все пассажиры, и только тогда повернулся к девочке и ответил ей:

— Ладно. Иду. Принимай вахту.

— Это что? — спросил я у него. — Это Манька и есть?

— Ага. Манька и есть. Вот она у нас какая! — улыбнулся он, и в голосе его я услышал не только очень тёплую нежность, но и настоящую гордость.

— Славная девочка, — сказал я и хотел сказать ещё что-то.

Но славная девочка так дерзко и сердито на меня посмотрела и так ужасно сморщила при этом свой маленький загорелый, облупившийся нос, что я проглотил все слова, какие вертелись у меня на языке. А она шмыгнула носом, повернулась на босой ноге и, подобрав подол своего цыганского платья, ловко прыгнула в лодку.

— Эй, бабы, бабы!.. Не шуметь! Без паники! — закричала она хриплым, простуженным баском, совсем как Мотя.

«И, наверно, совсем как покойный отец», — подумалось мне.

Я попрощался с Мотей, протянул ему руку.

— Ладно. До свиданья, — сказал он не очень внимательно и подал мне свою маленькую, крепкую, шершавую и мозолистую руку.

Поднявшись по лесенке наверх, на набережную, я оглянулся.

Мотя в своём длинном и широком балахоне и в огромных рыбацких сапогах, удаляясь от пристани, шёл уже по узенькой песчаной отмели, слегка наклонив голову и по-матросски покачиваясь на ходу.

А ялик уже отчалил от берега. Маленькая девочка сидела на вёслах, ловко работала ими, и вёсла в её руках весело поблёскивали на солнце и рассыпали вокруг себя тысячи и тысячи брызг.





ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Лейтенант Фридрих Буш, лётчик германской разведывательной авиации, и новодеревенский школьник Лёша Михайлов в один и тот же день получили награды: лейтенант Буш — железный крест, а Лёша Михайлов — медаль «За оборону Ленинграда». Как сказано было в приказе германского командования, лётчик Буш представлялся к награде «за отличную разведывательную деятельность над позициями противника у Ленинграда, в результате чего были обнаружены и уничтожены двенадцать зенитных установок русских». А Лёша Михайлов получил медаль как раз за то, что помог немецким самолётам обнаружить эти двенадцать батарей.

Вы, я вижу, удивлены. У вас глаза на лоб полезли.

Вы думаете небось, что это ошибка или опечатка. Что ж, выходит, значит, что Лёша Михайлов — предатель? Почему же тогда он получил советскую награду, а не какой-нибудь тоже медный или оловянный немецкий крест?

А между тем никакой ошибки тут нет. Лёша Михайлов получил свою награду по заслугам. А вот за что получил её лейтенант Фридрих Буш — это дело тёмное. Хотя, если разобраться, — может быть, он и в самом деле неплохо выполнил свою боевую задачу. Ведь он действительно обнаружил на подступах к Ленинграду двенадцать зенитных батарей. Правда, без помощи Лёши Михайлова и других ребят он чорта бы с два обнаружил. А хотя...

Ну да, впрочем, так вы всё равно ничего не поймёте. Надо всё рассказать по порядку.

* * *

Лёша Михайлов жил, как я уже сказал, в Новой Деревне. Около их дома, за огородами, был пруд. На том берегу пруда в небольшой рощице стояла зенитная батарея. Почти каждую ночь, когда с финской стороны летели на Ленинград немецкие бомбардировщики, батарея открывала огонь. Конечно, не одна батарея: их там вокруг было много. От этого огня в михайловском доме, как и в других, соседних домах, давно уже не осталось ни одного стекла — окна были заколочены досками или фанерой или заткнуты подушками. Зато уж и фашистам, конечно, тоже доставалось от этого огня!

Батарея была хорошо замаскирована. В обычное время, когда она помалкивала, не работала, её не только с воздуха, но и с земли не разглядеть было. Но, конечно, это только взрослые не могли разглядеть. А от ребят разве что-нибудь скроешь? Ребята ещё давно, ещё в самом начале войны, когда только появилась у них эта батарея, всё, что им нужно было, разнюхали, разведали и знали теперь батарею, наверно, не ху-

же самих зенитчиков. Знали и сколько там орудий, и какого они калибра, и сколько у орудий прислуги, и кто командир, и где снаряды лежат, и как заряжают, и как стреляют, и как команду подают.

Работала батарея только по ночам. Наутро после налёта бомбардировщиков почти всякий раз прилетал в деревню маленький, лёгкий, похожий на стрекозу немецкий самолёт-разведчик «Хеншель-126». Иногда он по получасу и больше кружил над деревней, выскивая и вынюхивая расположение русских зениток. Но батареи молчали. И «Хеншель-126», повертевшись и покружившись, несолоно хлебавши улетал во-свояси.

Сначала ребята удивлялись:

— Чего ж они не стреляют? Ведь он же прямо совсем на куриной высоте летит! Его с одного выстрела подбить можно!..

Один раз они даже не выдержали и закричали через колючую проволоку командиру батареи, который в это время как раз разглядывал в бинокль вражеского разведчика:

— Товарищ старший лейтенант! Чего ж вы смотрите? Хлопните его из второго орудия! В самый раз будет.

Командир оторвался от бинокля и с удивлением посмотрел на ребят.

— Это что такое? — крикнул он строго. — Вы как сюда попали?!

Ребята переглянулись, а Лёша Михайлов за всех ответил:

— Мы так... потихоньку... Замаскировались.

— Ах, вот как! Замаскировались? Ну, так и я вот тоже маскируюсь. Понятно?

— Ага. Понятно, — сказал, подумав, Лёша. — Чтобы, значит, не обнаружили и не засекали?

— Во-во! — сказал командир. — А вообще — пошли вон отсюда! Разве не знаете, что сюда нельзя ходить?

— Знаем, — ответили ребята. — Да мы не ходим, мы ползаем.

— Ну, и ползите обратно.

Дня через три вечером на батарее была объявлена боевая тревога. Не успел отзвенеть сигнал, как ребята уже сидели на своём обычном месте — в кустах на берегу пруда. Кто-то из батарейцев их заметил и сказал командиру.

— Ах, вот как! — закричал командир, узнав Лёшу Михайлова. — Опять это ты? Ну, погоди, попадись ты мне!

Лёша и товарищи его убежали, но и после, конечно, подглядывали за батарейцами, только стали немного осторожнее.

А в ноябре, перед самыми праздниками, случилась эта самая история, за которую Лёша Михайлов с товарищами чуть не угодил в трибунал.

Ну да, впрочем, не будем забегать вперёд. Будем и дальше рассказывать по порядку.

* * *

Выдался как-то очень хороший зимний денёк. Снегу насыпало — ни пройти, ни проехать. После школы выбежали ребята на улицу гулять. Стали играть в снежки. Поиграли немного — надоело. Кто-то предложил: «Давайте лепить снежную бабу». А Лёша Михайлов подумал и говорит:

— Нет, ребята, давайте лучше не бабу, а давайте — знаете что? — построим снежную крепость. Или батарею зенитную. С блиндажом и со всем, что полагается.

Затея ребятам понравилась, и вот на пруду, за михайловскими огородами, по соседству с настоящей зенитной батареей началось строительство игрушечной, снежной и ледяной, огневой точки.

Работали ребята весь день — до вечера. Катали снежные комья, возводили стены, брустверы, оружейные площадки... И получалось у них здорово. Всё как настоящее. Даже пушку соорудили, и пушка у них была не какая-нибудь, а самая всамделишная — зе-



нитная, из какого-то старого дышла или оглобли, и даже вертелась, и можно было из неё прицеливаться.

Это было в субботу. На следующий день ребята с утра достраивали свою крепость, когда над их голова-

ми в безоблачном зимнем небе появился старый новодеревенский знакомый — «Хеншель-126». На этот раз он прилетел очень кстати. Играть стало ещё интереснее.

— Воздух! — закричал Коська Мухин, маленький, веснушчатый паренёк, по прозвищу «Муха».

— Тревога! — закричал Лёша Михайлов. — Товарищи бойцы, по местам!

Он первым подбежал к игрушечной пушке и стал наводить её на настоящий вражеский самолёт.

— По фашистским стервятникам — огонь! — скомандовал он и сам ответил за свою пушку: — Бах! Бах!

— Бам-ба-ра-ра-ах! — хором подхватили ребята.

А разведчик, как всегда, повертелся, покрутился и, стрекоча своим стрекозиным моторчиком, улетел в сторону фронта.

Ребята ещё немного поиграли, потом разошлись.

Лёшу Михайлова позвали домой обедать. Он с удовольствием уплетал мятый варёный картофель с соевым маслом и уже собирался попросить у матери добавки и даже протянул для этого миску, как вдруг миска вылетела у него из рук. Оглушительный удар, а за ним второй и третий прогремели, как ему показалось, над самой его головой. Стены михайловского дома заходили ходуном, посыпалась штукатурка, на кухне что-то упало и со звоном покатилося. Лёшина сестрёнка Вера диким голосом закричала и заплакала. За нею заплакала Лёшина бабушка.

— Бомбят! Бомбят! — кричал кто-то на улице.

Там уже работали зенитки, стучал пулемёт, и где-то высоко в небе глухо гудели моторы немецких пикировщиков.

— А ну — живо — лезьте в подполье! — скомандовала Лёшина мать, отодвигая стол и поднимая тяжёлую крышку люка.

Бабушка, а за нею Лёшины сёстры и младший брат полезли в подвал, а сам Лёша, пользуясь суматохой, сорвал со стены шапку и юркнул в сени.

Во дворе он чуть не столкнулся с Коськой Мухиным. Муха едва дышал, лицо у него было бледное, губы дрожали.

— Ой, Лёшка! — забормотал он, испуганно оглядываясь. — Ты знаешь... беда какая...

— Что? Какая беда?

Муха не мог отдышаться:

— Ты знаешь, ведь это... ведь это ж нашу батарею сейчас бомбили.

— Ну да! Не ври! — сказал, побледнев, Лёша.

— Ей-богу, своими глазами видел. Две бомбы... прямое попадание... и обе в нашу батарею. Одни щепочки остались.

— Сам видел, говоришь?

— Говорю ж тебе: своими глазами видел. Мы с Валькой Вдовиным за водой ходили, увидали — и сразу туда. Я убежал, а он...

— Что?! — закричал Лёша и с силой схватил товарища за плечо.

— Его... его на батарею увели. На настоящую, — сказал Муха и, опустив голову, заплакал.

* * *

Немецкие самолёты разбомбили игрушечную крепость и улетели. На батареях прозвучал отбой воздушной тревоги, понемногу успокоилось всё и в самой деревне, а Валька Вдовин всё ещё не возвращался домой.

Лёша Михайлов несколько раз бегал к Валькиной матери. Он успокаивал её, говорил, что видел Вальку «своими глазами», что он жив, что его пригласили в гости зенитчики и, наверно, угощают его там чаем или галетами.

Но сам Лёша не мог успокоиться.

«Ведь это ж я виноват, — думал он. — Это я всё выдумал — с этой дурацкой крепостью. А Валька даже не строил её. Он только сегодня утром из Ленинграда приехал...»

Он уже собирался пойти на батарею и сказать, что это он виноват, а не Валька, когда в дверь постучали и в комнату ввалился сам Валька Вдовин.

— Ага, ты дома? — сказал он, останавливаясь в дверях.

— Дома, дома! Заходи! — обрадовался Лёша.

— Да нет... я на минутку... я не буду, — пробормотал Валька. — Кто-нибудь у вас есть?

— Нет, никого нет. Бабушка спит, а мама в очередь ушла. Заходи, не бойся.

— Лёшка, — сказал Вдовин, не глядя на Лёшу, — тебя, наверно, в трибунал отправят. Судить будут.

— Меня? — сказал Лёша. — А откуда ж узнали, что это я?

— Откуда узнали? А это я на тебя сказал.

— Ты?!

— Да, я, — повторил Валька и посмотрел Лёше в глаза. — Я сначала отпирался. Говорю: «Знать ничего не знаю». А потом командир батареи говорит: «Это, наверно, такой чернявенький, с полосатым шарфом... Михайлов его, кажется, зовут?» Ну, я и сказал: «Да, Михайлов». И адрес твой спросили — я тоже сказал.

Лёша стоял, опустив голову.

— Так, — выговорил он наконец. — Значит, и адрес сказал?

— Да. И адрес сказал.

— Ну, и правильно, — сказал Лёша. — Я всё равно сам пошёл на батарею. Я уже собирался даже.

— Значит, ты не сердишься?

— Чудак! Нет, конечно.

Валька схватил его за руку.

— Знаешь что? — сказал он. — А может быть, тебе убежать лучше?

— И не подумаю, — сказал Лёша.

Потом он взглянул на Вальку, не выдержал и тяжело вздохнул.

— Как ты думаешь — расстреляют? — сказал он. Валька, подумав немного, пожал плечами.

— Может быть, и не расстреляют, — ответил он не очень уверенно.

* * *

До вечера Лёша Михайлов ходил сам не свой. Приходили ребята, звали его гулять — он не пошёл. Уроков он не учил, отказался от ужина и раньше, чем обычно, улёгся спать. Но как ни старался, как ни ворочался с одного бока на другой, заснуть он не мог. Не то чтобы он очень боялся чего-нибудь. Нет, Лёша был, как говорится, не из трусливого десятка. Но всё-таки, как вы сами понимаете, положение у него было невесёлое. Тем более что он чувствовал себя действительно виноватым. А мысль о том, что судить его будут в военном трибунале, как какого-нибудь шпиона или предателя, совсем убивала его.

«Может быть, и в самом деле лучше убежать, — думал он. — Попроюсь как-нибудь на фронт или к партизанам, навру чего-нибудь, скажу, что мне скоро тринадцать лет будет, — может, меня и возьмут. Пойду куда-нибудь в разведку и погибну... как полагается... а после в газетах напишут или, может быть, объявят Героем Советского Союза...»

Но убежать Лёша не успел. Перед самым рассветом он забылся и задремал. А в половине восьмого, раньше чем обычно, его разбудила мать.

— Лёша! Лёшенька! — говорила она испуганным голосом. — Проснись! Сыночек!

— Чего? — забормотал Лёша, дрыгая спросонок ногой.

— Вставай скорее. За тобой приехали, тебя спрашивают.

Лёша одним махом сбросил с себя одеяло и сел в постели.

— Приехали? Из трибунала? — сказал он.

— Из какого трибунала? Не знаю... военный какой-то приехал. На мотоциклетке.

«Эх, не успел убежать!» — подумал Лёша.

Застёгивая на ходу рубашку и затягивая ремешок на животе, он вышел на кухню.

У печки стоял высокий красноармеец в полушубке и в кожаном шофёрском шлеме. Он сушил перед печкой свои меховые рукавицы. От них шёл пар.

Увидев Лёшу, красноармеец как будто слегка удивился: наверно, он думал, что Лёша немного постарше.

— Михайлов Алексей — это вы будете? — сказал он.

— Я, — сказал Лёша.

— Одевайтесь. Я за вами. Вот у меня повестка на вас.

— Ой, батюшки-светы, куда это вы его? — испугалась Лёшина мать.

— А это, мамаша, военная тайна, — усмехнулся красноармеец. — Если вызывают, значит заслужил.

У Лёши не попадали в рукава руки, когда он натягивал своё пальтишко. Мать хотела ему помочь. Он отстранил её.

— Ладно, мама. Оставь. Я сам, — сказал он и почувствовал, что зубы у него всё-таки слегка стучат и голос дрожит.

— Взять с собой что-нибудь можно? Или не надо? — спросил он, посмотрев на красноармейца.

Тот опять усмехнулся и ничего не сказал, а только покачал головой.

— Поехали, — сказал он, надевая свои меховые перчатки.

Лёша попрощался с матерью и пошёл к выходу.

На улице у ворот стоял яркокрасный трофейный мотоцикл с приставной коляской-лодочкой.

Ещё вчера утром с каким удовольствием, с каким фасоном прокатился бы Лёша Михайлов на виду у всей деревни в этой шикарной трёхколёсной машине! А сейчас он с трудом, еле волоча ноги, забрался в коляску

и сразу же поднял воротник и спрятал лицо: ещё, не дай бог, увидит кто-нибудь из соседей...

Красноармеец сел рядом, в седло, и одним ударом ноги завёл мотор. Мотоцикл задрожал, зафукал, застучал и, сорвавшись с места, помчался, взметая снежные хлопья и подпрыгивая на ухабах, по знакомой деревенской улице.

* * *

Ехали они очень недолго. Лёша и оглянуться не успел, как машина застопорилась и остановилась у ворот двухэтажного каменного дома. У ворот стоял часовой.

Лёша огляделся и узнал этот дом. Когда-то здесь был детский сад.

«Это на Островах, — сообразил он. — Вот он, оказывается, где трибунал-то помещается...»

— Вылезай, Алексей Михайлов. Пошли, — сказал ему красноармеец.

«Ох, только бы не заплакать!» — подумал Лёша, вылезая из кабинки и направляясь к воротам.

Часовой попросил у них пропуск.

— К полковнику Шмелёву, — сказал Лёшин сопровождающий и показал повестку.

Часовой открыл калитку и пропустил их.

В большой накуренной комнате, где когда-то помещалась, наверно, столовая детского сада, было сейчас очень много военных. Были тут и лётчики, и зенитчики, и моряки береговой обороны. Были и красноармейцы и офицеры. Кто сидел, кто стоял, прислонившись к стене, кто расхаживал по комнате.

— погоди минутку, я сейчас, — сказал Лёше его спутник и скрылся за большой белой дверью.

Через минуту он вернулся.

— Посиди, тебя вызовут, — сказал он и ушёл.

Лёша присел на краешке скамейки и стал ждать.

Вдруг белая дверь открылась, и из неё вышел Лёшин знакомый — тот самый старший лейтенант, командир новодеревенской батареи. Он увидел Лёшу, узнал его, но ничего не сказал, нахмурился и пошёл к выходу.

А Лёша даже привстал от волнения. Он даже не сразу расслышал, что его зовут.

— Михайлов! Михайлов! Кто Михайлов? — говорили вокруг.

— Я Михайлов! — закричал Лёша.

— Что ж ты не откликаешься? — сердито сказал ему молоденький лейтенант в блестящих, как зеркало, сапогах. Он стоял в дверях с какими-то папками и списками и уже целую минуту выкликал Лёшину фамилию. — Пройдите к полковнику, — сказал он, открывая белую дверь.

«Только бы не заплакать!» — ещё раз подумал Лёша и, стараясь держаться прямо, по-военному, шагнул через порог.

* * *

Пожилой, стриженный ёжиком полковник сидел за большим столом и перелистывал какие-то бумаги.

— Михайлов? — спросил он, не глядя на Лёшу.

— Да, — ответил Лёша.

Полковник поднял глаза и тоже как будто удивился, что Лёша такой маленький и тщедушный.

— Н-да, — сказал он, разглядывая его из-под густых и мохнатых, как у медведя, бровей. — Вот ты какой, оказывается! А ну-ка, подойди ближе.

Лёша подошёл к столу. Полковник смотрел на него строго, и седые медвежьи брови его всё ближе и ближе сдвигались к переносице.

— Так, значит, это ты построил снежную крепость, или блиндаж, или что там... которую давеча разбомбили «мессеры»?

— Да... я, — прохрипел Лёша и почувствовал, что ещё минута — и слёзы помешают ему говорить. — Только ведь мы не нарочно, товарищ полковник, — прибавил он, стараясь глядеть полковнику прямо в глаза. — Мы ведь играли...

— Ах, вот как? Играли?!

— Ага, — прошептал Лёша.

— Кто это «мы»?

— Ну кто? Ребята, одним словом.

— А кто зачинщик? Кто выдумал всё это? Под чьим руководством строили?

— Я выдумал. Под моим, — ответил Лёша, опуская голову. И тут он не выдержал — слёзы прорвались оттуда, где они до сих пор прятались, и заклокотали у него в горле. — Товарищ полковник... пожалуйста... простите меня, — пролепетал он. — Я больше не буду...

— Это что — не будешь?

— Играть не буду.

— Вот тебе и на! — усмехнулся полковник. — Как же это можно — не играть?

— Ну... вообще, блиндажей не буду строить.

— Не будешь? Самым серьёзным образом — не будешь?

— Самым серьёзным. Вот ей-богу! Хоть провалиться! — сказал Лёша.

— Н-да, — сказал полковник. — Ну, а если мы тебя попросим?

— Что попросите?

— Да вот что-нибудь ещё построить — в этом же роде. Крепость, или блиндаж, или дзот какой-нибудь...

Лёша поднял глаза. Полковник смотрел на него по-прежнему серьёзно, не улыбаясь, только брови его разошлись от переносицы и под ними открылись ясные, немного усталые и воспалённые от долгой бессонницы глаза.

— Видишь ли, дорогой товарищ, какая история, — сказал он. — Оказывается, что в военное время даже играть надо осторожно. Вот построили вы, например, батарею. Отлично, вероятно, построили, если немец её за настоящую принял. Но построили вы её где? Рядом с настоящей, боевой, действующей зенитной батареей. Это тебе известно?

— Известно, да, — чуть слышно проговорил Лёша.

— А ведь рядом не только батарея: тут и невоенные объекты — жилые дома, живые люди...

— Товарищ полковник! — чуть не плача, перебил его Лёша. — Да разве ж я не понимаю?!

— Понимаешь, да поздно, — строго сказал полковник. — Задним умом живёшь.

— Правильно. Задним, — вздохнув, согласился Лёша.

— А между тем, — продолжал полковник, — такие фальшивые, что ли, сооружения, как ваша крепость, нам, военным людям, очень и очень нужны. Они называются у нас ложными объектами. Чтобы замаскировать настоящий объект, отвести противнику глаза и натянуть ему нос, где-нибудь в стороне строятся поддельные, декоративные, похожие на настоящие и всё-таки не настоящие укрепления и сооружения: блиндажи, окопы, ангары, огневые точки, батареи — и всё, чего, одним словом, душа пожелает.

Лёша давно уже проглотил слёзы и слушал полковника с таким вниманием, что даже рот открыл.

— Понятно тебе? — сказал полковник.

— Ага. Понятно, — кивнул Лёша.

— Так вот, товарищ Михайлов, не согласитесь ли вы построить нам штукечек пять-шесть таких ложных объектов?

— Это кто? Это я? — чуть не закричал Лёша.

— Да. В общем, ты и товарищи твои.

Лёша смотрел на полковника и не понимал, шутит он или нет.

— А из чего строить? Из снега? — сказал он.

— А это уж как вам хочется. Лучше всего из снега, конечно. Во-первых, материал дешёвый. А во-вторых, кто же лучше ребят со снегом умеет работать!

— Точно! — согласился Лёша.

— Ну, так как же? — сказал полковник.

— Ну что ж, — ответил Лёша, для важности почесав в затылке. — Можно, конечно... Только вот боюсь, что, пожалуй...

— Что ещё за «пожалуй»?

— Оглобель, боюсь, не хватит.

— Каких оглобель?

— Ну, которые вместо пушек. У нас ведь понарошку было: зенитки у нас не было, так мы оглоблю вместо неё...

— Понятно, — сказал полковник. — Ну что ж, товарищ Михайлов, оглобель уж мы вам как-нибудь раздобудем. За оглоблями дело не станет.

— Тогда всё в порядке, — сказал Лёша. — Приказано строить.

Сни ещё немножко поговорили, и через десять минут трасный штабной мотоцикл уже мчал Лёшу Михайлова обратно домой.

* * *

А что было дальше, я вам в подробностях рассказать не могу. Где и как строились ложные объекты, это, как вы сами понимаете, очень большая военная тайна. Могу только сказать, что строили их вместе с Лёшей Михайловым и Коська Мухин, по прозвищу Муха, и Валька Вдовин, и другие новодеревенские ребята. Но Лёша Михайлов был у них главным инженером. И в штабе, куда он теперь частенько заглядывал за указаниями и за инструкциями, его так и называли: «Инженер 1-го ранга Алексей Михайлов».

Работали ребята, в общем, на славу. Иногда, если нужно было, и по ночам работали, забывали пить и есть, не жалели ни сна, ни времени своего, но в школу всё-таки бегали, не пропускали, и Лёша Михайлов даже умудрился в эти дни получить «отлично» по русскому письменному.

А «Хеншель-126» теперь уже не летал в Новую Деревню, а летал туда, где возникали одна за другой новые зенитные точки. Следом за ним прилетали тяжёлые «мессеры» и «фокке-вульфы» и, не жалея боеприпасов, бомбили снежные блиндажи и деревянные орудия. А ребята сидели в это время дома или в убежище, прислушивались к далёким разрывам фуга-



сок, переглядывались и посмеивались. И взрослые не понимали, чего они смеются, и сердились: ведь никто не знал, что фашисты бомбят снег. А ребята хранили военную тайну свято, как полагается...

Иногда, если немцы не замечали батарею и долго её не бомбили, ребятам приходилось достраивать или даже перестраивать её. Но таких было немного — две или три, а на остальные фашистские лётчики «клевали», как рыба клюёт на хорошую приманку.

В тот день, когда фашистские самолёты разбомбили двенадцатую по счёту снежную батарею, Лёшу Михайлова с товарищами вызвали в Ленинград, в штаб фронта. Их принял командующий фронтом. Из его рук Лёша Михайлов получил медаль, а товарищи его — почётные грамоты, в которых было сказано, что они отличились на обороне города Ленина, «выполняя специальное задание командования».

В этот же день лейтенант Фридрих Буш, командир разведывательного самолёта «Хеншель-126», получил железный крест. Об этом писали немецкие фашистские газеты. Видели мы там и фотографию этого «отважного» лётчика. До чего же, вы знаете, глупое, самодовольное и счастливое лицо у этого прославленного героя...

Где-то он теперь, этот Фридрих Буш?..

А Лёша Михайлов жив, здоров, попрежнему живёт в Новой Деревне и учится уже в восьмом классе.





ПЕРВЫЙ ПОДВИГ

Полковник Мережанов, командир гвардейской дивизии, кавалер орденов Отечественной войны, Кутузова и Александра Невского, а с недавних пор ещё и Герой Советского Союза, в боях под Сандомиром был тяжело ранен и лежал на излечении в Н-ском тыловом госпитале. Я приехал туда, чтобы писать о нём книгу. Полковник уже выздоравливал, ему разрешено было ходить, и он много и с удовольствием ходил, опираясь на суковатую палку, собирал ягоды и грибы, удил рыбу и даже пробовал играть на бильярде. Со мной он был очень вежлив и предупредителен, но боюсь, что особенной радости мой приезд ему не доставил. Как и все по-настоящему сильные и мужественные люди, Мережанов был скромн и неразговорчив; пуще смерти не любил он рассказывать о себе, а я с утра до ночи

заставлял его говорить, и говорить именно о себе, о своих подвигах и переживаниях.

Пока он ловил в реке Шар-Йорка окуньков и ершей, я выуживал из него подробности его боевой биографии.

Он в лес по грибы — и я за ним. Он сядет отдохнуть в гамаке или в качалке — и я пристраиваюсь рядом.

В конце концов мне удалось собрать очень много материала, и мне казалось, что вся жизнь Мережанова — от детских лет до той минуты, когда он прочёл в «Известиях» указ о присвоении ему звания Героя — уже действительно собрана и лежит у меня в портфеле, в четырёх потрёпанных и мелко исписанных записных книжках. Только один факт в его биографии оставался для меня загадочным.

У Мережанова было очень хорошее, умное кареглазое русское лицо. Это лицо я бы не побоялся, пожалуй, назвать и красивым, если бы не безобразил его глубокий рубцеватый шрам, след пулевого ранения, тянувшийся через всю левую щёку, от уха до краешка верхней губы. Я знал, что Мережанов был одиннадцать раз ранен, но о том, что он был ранен в лицо, он никогда мне не рассказывал, и в истории его болезни, с которой я познакомился в кабинете начальника госпиталя, я тоже не нашёл никакого упоминания о таком ранении.

Однажды вечером, когда мы сидели с Мережановым в саду — он в гамаке, а я возле него на пенёчке, — я, как бы невзначай, между делом, задал ему вопрос:

— Скажите, полковник, я давно хотел спросить: откуда у вас эта царапина на щеке?

— Где? Какая? — спросил он, потрогав щёку, и вдруг нащупал рубец, понял, о чём я спрашиваю, помрачнел и как-то слишком поспешно и даже сердито, не глядя на меня, пробормотал: — Пустяки... Никакого отношения к вашей теме не имеет. Дело далёкого прошлого.

И, опершись на палку, он выбрался из гамака и сказал:

— Идёмте спать. Уже поздно.

Больше я не решался его спрашивать. Бывает же у всякого такое, о чём неприятно и не хочется говорить. «Ничего не поделаешь», — решил я. Тем более что через несколько дней я должен был уезжать. И ведь надо же было так случиться, что именно в этот день, буквально за две минуты до отъезда, мне посчастливилось узнать тайну этого мережановского шрама!

* * *

Вместе со мной уезжали из госпиталя два молодых офицера, фронтовики Брем и Костомаров. Ещё с вечера мы попрощались с товарищами и врачами, а утром, чуть свет, поднялись, уложили вещи и вышли на шоссе, поджидая машину, которая должна была доставить нас на пароходную пристань. Накинув на плечи серую больничную курточку, вышел нас проводить и полковник Мережанов.

Солнца ещё не было видно, ещё лежала роса на траве, но вершины деревьев уже розовели и обещали хороший, ясный и спокойный августовский день.

Машина долго не шла. Мы сложили наши вещи у дороги и сами расположились тут же маленьким лагерьем. Мережанов, по обыкновению, молчал; он лежал в стороне, покусывая какой-то цветок или травинку; я тоже молчал, зато молодые попутчики мои были возбуждены, много смеялись и говорили громко и наперебой.

За дорогой, в небольшой рощице, позвякивая колокольчиками, бродило колхозное стадо. Мальчик-пастух, которого я и раньше встречал в окрестностях госпиталя, то и дело высовывал из-за кустов свою белобрысую голову и поглядывал в нашу сторону. Видно было, что ему хочется подойти к нам и заговорить, да не хватает храбрости. Но всё-таки он подбирался всё ближе и ближе, наконец вышел на дорогу, постоял, по-

смотрел, сделал ещё два-три шага, неловко поздоровался и, не дожидаясь приглашения, сел у края дороги, подогнув под себя босые ноги и положив рядом свой длинный пастушеский кнут. Минуту он сидел молча, разглядывая ордена и медали моих спутников и не очень внимательно прислушиваясь к их разговорам; потом вдруг тяжело вздохнул, покраснел и сказал:

— Я извиняюсь, товарищи военные... Можно вопросик задать?

— Какой вопросик? Можно, — ответили ему.

— В общем... я вот чего хотел, — проговорил он, волнуясь, посапывая носом и ещё более краснея. — Я уже давно думал, с кем бы мне посоветоваться... Не скажете ли вы мне, товарищи, как бы мне... ну, одним словом, — подвиг совершить?

Трудно было удержаться от смеха. Все мы громко и от души расхохотались. А мальчик ещё больше смутился, до того, что слёзы у него на глазах показались, и сказал:

— Да нет, вы не думайте, я ведь это серьёзно.

— А тебе что — так уж обязательно хочется совершить подвиг?

— Ага, — кивнул он. — Обязательно.

— Ну, так за чем же дело стало?

— А вот за тем и стало, что никакой возможности нет в моём положении подвиг совершить. Сами подумайте: где ж его тут у нас совершишь? Фронт от нас далеко: километров, я думаю, тыщи две. Полюсов тоже нет. Хотя бы граница какая-нибудь была — и той нету.

— Глупости, мой дорогой, — сказал лейтенант Брем. — Чтобы совершить подвиг, вовсе необязательно ездить на фронт или открывать полюс. В любом деле можно проявить и отвагу и мужество и принести пользу родине.

— Да, это конечно, — рассеянно кивнул мальчик. — Это я читал...

Слова лейтенанта его нисколько не утешили. Обо всём этом он уже слышал небось много раз и от учи-

тельницы, и от матери, и в книжках читал... И всё это были для него пустые слова. А ему, наверно, и в самом деле до смерти хотелось совершить какой-нибудь громкий и небывалый подвиг.

— Ну что ж, — сказал он, подбирая свой кнут и поднимаясь. — Ладно... Пойду... Простите, коли так, что побеспокоил...

Он постоял, помолчал, почесал в затылке и уже другим голосом, более весело и развязно, сказал:

— Может, тогда хоть папиросочкой угостите? А?

Кто-то из нас, засмеявшись, дал ему папиросу. И прикурить тоже дал. И при этом, конечно, как это всегда бывает, не удержался, чтобы не сказать:

— Маленький такой, а куришь! Ай-яй-яй!..

— Эвона! — сказал мальчик басом, выпуская из ноздрей дым и морщась от крепкого табаку. — Я уж, вы знаете, четвёртый год курю.

— Ну и дурак! Нашёл чем хвастать. Вредно ведь.

— Ну да! — усмехнулся он. — Это только так говорят, что вредно. А сами небось все курите. Военные вообще все курят.

— Да? Ты думаешь? А вот я, представь себе, не курю.

Это сказал Мережанов. Он действительно не курил и даже табачного дыма не выносил.

Мальчик мельком, небрежно посмотрел на его серую курточку и сказал:

— Ну так что ж! Ведь вы же зато не военный...

Опять мы расхохотались. Пришлось объяснить мальчику, кто такой Мережанов. Но оказалось, что он лучше нас знает, кто такой Мережанов.

— Нет, верно? — воскликнул он, и заблестевшие глаза его так и впились в полковника. — Это вы?!

— Я, — с улыбкой отвечал Мережанов.

— Это вы прошлый год на бочках через Днепр переплыли? Помните?

— Ну как же, помню немножко, — сказал Мережанов.

— А под Житомиром это вы два батальона немецкой пехоты окружили?

— Э, брат, да ты, я вижу, какой-то вроде колдуна! Всё-то ты знаешь, ничего от тебя не скроешь. Ну тебя! — махнул рукой полковник.

Мальчик опять присел на корточки и во все глаза смотрел на знаменитого человека, о котором он небось и в газетах читал и по радио слушал.

— А почему же вы не курите, товарищ Мережанов? — спросил он.

— Почему не курю? Не хочу, потому и не курю.

— И раньше никогда не курили?

Полковник не сразу ответил. Мне показалось, что лицо его помрачнело. Внезапно он сел, как будто собираясь рассказывать что-то, посмотрел на мальчика и спросил:

— Тебе сколько лет?

— Одиннадцать.

— Ну да, правильно, — сказал Мережанов. — И я тоже начал дымить приблизительно в этом же возрасте. И дымил, представь себе, как паровоз, двадцать три года подряд.

— А потом?

— А потом взял и бросил.

— Доктор небось велел?

— Нет, доктора тут вовсе ни при чём. Конечно, куренье приносит вред и лёгким, и печени, и селезёнке. Всё это истинная правда. Но если бы дело было только в одной какой-нибудь там печёнке — может быть, и не стоило бы бросать курить. А я вот убеждён, что военному человеку вообще курить не следует. Особенно лётчику, разведчику, пограничнику...

Мережанов помолчал, посмотрел на маленького пастушонка, который неловко затягивался и неловко пускал из ноздрей дым, и сказал:

— Ладно, так и быть. Слушай. Расскажу тебе, чего со мной табак наделал. И вам, товарищи офицеры, тоже полезно будет послушать.

— В тридцать шестом году служил я в пограничных войсках. Был я тогда лейтенант и состоял в должности заместителя начальника погранзаставы. На какой границе и где — это не важно. Только скажу вам, что места эти были отчаянно глухие. Лес да болото, и ничего больше. В лесах этих водилось очень много дичи, ещё больше комаров, а зато людей там было очень немного. И люди эти были по преимуществу староверы, или, как их называли до революции, раскольники. Народ, между нами говоря, весьма положительный, трудолюбивый, непьющий и некурящий. Ну, насчёт выпивки не поручусь: может, и выпивают слегка. А вот что касается куренья — это нет. Куренье у них почитается за высший грех. Табак они даже не табаком, а «зельем» именуют. А зелье по-старославянски означает «яд». Жили они, эти староверы, в то время как-то на отшибе, на хуторах, с остальным населением не яшались, молились в своих молельнях, ели и пили из своей посуды... Ну, да ведь это, как говорится, дело их совести. Были, конечно, среди них и кулаки и прочие враждебные элементы, но тех уже давно попросили об выходе... А в остальном, я говорю, народ подходящий, трудовой, и жили мы с ними, в общем, в мире и согласии.

И только один человек на всём нашем участке был у нас на подозрении. Это была одна женщина, по фамилии Бобылёва. У неё двоюродный брат, некто Филонов, раскулаченный, в тридцать первом году бежал за границу. Там его очень быстро завербовала немецкая военная разведка, и за три года он несколько раз переходил нашу государственную границу. Это был очень ловкий и очень опасный враг. В 1935 году он среди бела дня застрелил из обрез учительницу Скворцову. Наверно, вы помните этот случай... Не помните? Ну ладно, я напому. Учительница эта была коммунистка и депутат Совета. У Филонова с нею были какие-то старые счёты: она его когда-то раскулачивала и писа-

ла о нём в областную газету. Так вот, этот Филонов, я говорю, среди бела дня пришёл в деревню; в школе в это время шли занятия, и учительница что-то писала ребятам на доске. Он распахнул окно, выпустил в упор всю обойму — и поминай как звали.

Его ловили, устраивали на него целые облавы — он, как угорь, сквозь пальцы у нас проскальзывал.

И вот однажды мы получаем сведения, что Филонов опять собирается перейти границу, что идёт он с очень важным и ответственным заданием в Москву и что у него явка на одном из хуторов в нашем районе.

Между прочим, в то время я ещё не знал, что Бобылёва — родственница Филонова. Пограничник я был молодой, на заставе служил первый год. Но у меня уже и тогда были серьёзные основания поглядывать на эту женщину с подозрением.

Бобылёва жила на хуторе одна. Это была уже очень дряхлая старуха. Она ни с кем не видалась, никуда не ходила. И мы о ней до поры до времени ничего дурного не думали. Но один раз, возвращаясь из лесу с какого-то задания, я зашёл к ней на хутор напиться воды. Поила она меня из особого стакана, из которого сама не пила. Такая посуда, для посторонних, у них называется «поганой». Стакан этот был завёрнут в старую, скомканную газету. Случайно я взглянул на эти бумажные ошмётки и увидел, что газета эта... ну, одним словом, не наша, иностранная. Спросил старуху, откуда у неё. Говорит: «Не помню — кажется, в лесу нашла». В общем, это звучало правдоподобно. В деревне, как вы знаете, бумагой, даже каждым клочком её, дорожат. А найти иностранную газету в лесу, где ходит всякая сволочь, в наших местах нетрудно. Всё-таки я сообщил о своём «открытии» начальнику. Он тоже решил, что пустяки. Однако за этой Бобылёвой мы стали с тех пор слеживать. Правда, ничего особенного не выследили, но подозрение, как-никак, осталось.

А когда мы получили сведения, что у Филонова явка на нашем участке, и когда я узнал, что Бобылё-

ва — родственница Филонова, для меня вся картина сразу же стала ясной. Правда, в этом случае мне помогло ещё одно маленькое обстоятельство, о котором я не имею права рассказывать. Но факт тот, что я пришёл к точному и определённом заключению, что Филонов после перехода границы должен будет остановиться на хуторе у Бобылёвой. И тут я, как говорится, угадал с точностью до одной сотой миллиметра...

* * *

Я доложил о своих соображениях начальнику. Тот сообщил в штаб отряда. Меня вызвали в город, и там я получил задание — на свой страх и риск провести эту серьёзную и ответственную операцию по поимке Филонова. Для меня это был экзамен на боевую воинскую зрелость.

Не люблю хвастать, но должен сказать, что операция эта была разработана у нас по всем правилам искусства.

Накануне вечером, то-есть накануне того дня, когда ожидалось появление Филонова, мы пригласили Евдокию Бобылёву на заставу и там, уж не помню под каким благовидным предлогом, её задержали. А тем временем на хуторе у неё произвели обыск... Ничего такого умопомрачительного не нашли: ни оружия, ни взрывчатых веществ, ни карт каких-нибудь. Но и того, что было найдено, оказалось достаточным, чтобы нас не мучила совесть, будто мы ни за что ни про что потревожили на ночь глядя бедную, одинокую старушку. Нашли мы у неё там отрез заграничного, правда очень дешёвенького, ситца, баночку — тоже заграничного — лекарства от ревматизма и — самое главное — нашли профсоюзный билет на имя Василия Фёдоровича Пыжова. А мы знали, что под этой фамилией в позапрошлом году Филонов приходил в Советский Союз.

Попросили объяснений у Бобылёвой. Старуха полomalась-полomalась, а потом расплакалась, раску-

дахталась и вынуждена была признаться, что Филонов, её двоюродный брательник, действительно бывал у неё не один раз, что последний раз он был у неё о прошлом месяце и что вскорости опять обещал прийти и обещал принести ей вязальных иголок и цветной шерсти.

Этих гостинцев она, разумеется, не получила: в тот же вечер её взяли под замок.

А нам теперь оставалось только не прозевать Филонова. И вот тут-то мы, как говорится, и...

— Товарищ полковник, машина идёт, — перебил Мережанова лейтенант Брем.

— Что? Где? Какая машина? — закричал маленький пастушонок.

Он уже увлёкся рассказом Мережанова. Глаза у него блестели, сидел он, как на пружинках, и стоило полковнику задуматься или замедлить рассказ, как он уже начинал ёрзать и подпрыгивать, словно его муравьи кусали.

Теперь он вскочил и с неподдельным ужасом смотрел туда, где в облаке розовеющей на утреннем солнце пыли и в самом деле шла, приближаясь к нам, высокая грузовая машина.

Но оказалось, что это не наша машина.

С тяжким весёлым грохотом она промчалась мимо. На огромной светлозелёной горе капустных кочанов сидели, обнявшись, две девушки и громко, стараясь перекрыть грохот мотора, пели. Проезжая мимо, они запели ещё громче, потом закричали что-то, и одна из них долго махала рукой, пока машина не скрылась за поворотом.

Мальчик облегчённо вздохнул, засмеялся и поспешно пристроился на своём прежнем месте, у ног Мережанова.

— Ну-ну, а дальше чего? — затеребил он полковника.

Но Мережанов опять задумался. Казалось, он не видел ни нас, ни мальчика, ни весёлого, шумного вихря, который промчался мимо.

— Н-да... — проговорил он наконец, тряхнув головой. — Оставалось, я говорю, ловить Филонова. Перед нами стояла, казалось бы, очень несложная задача: поймать зверя в западне, которую он сам себе устроил.

Ну что ж, я сделал всё, что требовалось для этого. На всём участке, где нужно и можно было, я расставил усиленные пикеты пограничников. Я связался по телефону с соседними заставами. Там тоже была усилена охрана участков. На себя же я взял самую серьёзную и ответственную часть задачи: я решил сам лично сесть в засаду на бобылёвском хуторе.



Пошёл я туда без лишнего шума, никому, кроме начальника, об этом не сообщил и взял с собой одного только человека. Это был сержант Алиханов, азербайджанец, чудесный парень, необыкновенный смельчак, у которого на счету было более двадцати задержаний. Это значит, что он лично задержал и обезвредил больше двадцати врагов нашей родины.

Мы оба хорошо выспались, встали задолго до рассвета, часа в два ночи, плотно позавтракали и пошли на хутор.

Я хорошо помню эту ночь. Моросил дождь. Для Филонова это было, конечно, очень кстати, потому что дождь, как вы знаете, и следы смывает и шорохи скрадывает. А пограничникам, наоборот, в такую погоду работать не приведи господи... Ну, да ведь мы собрались ловить его не на улице.

Нам тоже это было на руку, что следов не оставалось.

В избе у Бобылёвой ещё с вечера был наведён полный порядок в углу перед иконой лампадка теплится, на полу половички разостланы, у входа — ведро с водой, на столе — кринка с молоком и ситечко лежит, как будто старуха ушла на погреб и вот-вот вернётся.

Одним словом, нужно было садиться и ждать гостя. Мы так и сделали.

* * *

Я сел за пологом, возле печки, где у старухи стояла кровать и висела одежда. Это было очень удобное для маскировки и для наблюдения место. А мой напарник устроился в противоположном углу, около двери. Там стоял такой небольшой чёрненький шкафчик, или, как это у них называется, «горка», — для посуды и для хозяйственной утвари. От дверей Алиханов был отгорожен, а я его видел, и он меня тоже мог видеть, потому что полог был с этой стороны слегка раздвинут...

Ну вот... Что ж тут рассказывать! Сели и сидим. Оружие в руках держим. Сидим как положено. А положено в таких случаях сидеть молча, не шевелиться, не двигаться, не кашлять, не сморкаться, а если можно, так и не дышать. Занятие, конечно, скучное, да только — что ж, нам не привыкать.

Сидим час, другой, третий... На дворе уж последние петухи пропели. Уж светать начинает. Тогда у нас, между прочим, на границе такое правило было, что в пограничных посёлках окна, выходящие на западную сторону, должны были с наступлением темноты закрываться ставнями. Так вот уж сквозь эти ставни мы видим, как на дворе белый день занимается.

Ещё сколько-то часов проходит. Мы сидим. Не шевелимся. Не дышим. И такая, вы знаете, тишина вокруг, что даже в ушах звенит. Только слышно, как тараканы где-то за печкой путешествуют, как дождь за окном шумит и как лампадка в углу перед «спасом нерукотворным» потрескивает.

Сначала я каждые пять минут на часы поглядывал. А потом запретил себе. Дал зарок: если раньше, чем через час, погляжу, значит никуда не годится, значит, выходит, что я тряпка и у меня никакой воли нет.

Но и часы бегут, как минуты. Не успеешь поглядеть: час, ещё час, ещё один.

Закусили мы перед уходом, как я уже говорил, довольно плотно, а всё-таки уж опять и есть начинает хотеться. А ещё больше — курить хочется. Я и по себе чувствую, и особенно мне Алиханова жалко. Погляжу на его нос, как уныло книзу повис, и прямо, вы не поверите, плакать хочется. «Эх, — думаю, — братец ты мой Алиханов, затянуться бы тебе сейчас один хороший разок беломорчиком — небось моментально бы твой нос прежний боевой вид принял!» А он как будто, вы знаете, мысли мои услышал. Вдруг, вижу, зашевелился и рукой мне какие-то знаки делает.

— Что?

Вижу — суёт палец в рот. Потом руку к сердцу приложил, глаза, как сумасшедший, выкатил и головой

мотает. Дескать, умираю, терпенья нет, до чего курить охота.

А я что ж? Говорю: нет! Головой качаю. Нельзя, дескать.

А сам думаю: а что, в самом деле?.. Разве и правда выкурить одну штучку на двоих? Никакой ведь опасности в этом нет. Окна ставнями закрыты, не видно... А то этак и в самом деле можно с ума сойти. Без курева у курящего человека и голова плохо работает.

Одним словом, стал себя всячески убеждать, что покурить необходимо, что вреда от этого нет, что запрещение курить на посту — одна проформа. Это, дескать, на воле, в лесу или на открытой местности, — там действительно это недопустимо, а здесь...

И всё-таки я довольно долго боролся с этим дьявольским искушением. Я терпел сам и Алиханова заставлял терпеть. Но тут произошло одно маленькое происшествие, одна сушая мелочь, которая, собственно, нас и погубила.

* * *

Короче говоря, перед иконой погасла лампадка. Она уже давно не горела, а так, как говорится, на ладан дышала. Масло в ней выгорело, и вот наступила минута, когда она замигала, замигала, вспыхнула напоследок ярким светом, и сразу же в комнате наступила полная тьма. Только сквозь ставни в комнату пробивались жиденькие лучики. Но и они с каждым часом становились всё бледнее и бледнее: на улице темнело, шёл дождь.

Теперь уж я не мог и во времени ориентироваться. Сначала ещё кое-как разбирался, пока не так темно было. А потом и часы мои оказались бесполезными.

В темноте, как вы знаете, ещё труднее сидеть в за-саде. Только очутившись в полном, непроницаемом мраке, ты начинаешь понимать, как, собственно, много у тебя было развлечений, пока не померк свет, пока

хотя бы мигала и освещала избу вот такая убогая лампадка. Можно было смотреть на Алиханова. Можно было следить за тараканом, который безуспешно пытался форсировать какую-то щель в обоях на стене. Можно было, наконец, рассматривать вещи и думать о каждой из них: как она сюда попала, кто её мастерил, и так далее.

И от этого, от того, что нет никаких развлечений, время идёт в темноте ещё медленнее. И голова как-то тяжелеет. И курить ещё больше хочется.

Было уж совсем темно, когда я решил посмотреть на часы.

Нужно было зажечь спичку. Конечно, я сделал это с предосторожностями. Мало того, что я находился за пологом, — я залез ещё под кровать. И там в самом укромном уголке, закрываясь руками и полами шинели, я зажгёт спичку. Посмотрел на часы. И вы знаете, даже испугался: было уже восемь часов вечера. Следовательно, выходило, что мы просидели с Алихановым в засаде уже семнадцать с половиной часов!

Спичка моя погасла, и я хотел уже выбираться из-под кровати — вдруг слышу в темноте этакий робкий, жалобный и необыкновенно хриплый от долгого бездействия голос Алиханова:

— Товарищ лейтенант... Оставьте!

Я не сразу сообразил, что это он меня покурить просит оставить. Значит, он заметил огонёк, видел, как я зажигаю спичку, и решил, что я закуриваю.

Может быть, вы мне не поверите, скажете, что я лицемерю и себя оправдываю, но, вот честное слово, мне до смерти Алиханова жалко стало. Я думаю: человек ждёт, надеется, уж у него все жилки от нетерпения трясутся, а я ему что — фигу покажу? Нет, думаю, это не по-товарищески, не по-солдатски... Э, думаю, в конце концов — чепуха, одну штучку можно...

Вынул «Беломор», зажгёт с теми же предосторожностями ещё одну спичку — и закурил.

Покурил, накачался дымом и стучу Алиханову —

на условном языке, каким мы в засадах между собой переговариваемся: дескать, иди ко мне!.. Он ждать себя не заставил, без труда меня разыскал, заполз под кровать и докурил мою папиросу.

Никогда не забуду, с каким наслаждением он кричал и покашливал!.. Эх, Алиханов, Алиханов!.. Не думал я тогда, что эта папироса — последняя в его жизни!..

Полковник тяжело вздохнул, подумал немного и покачал головой:

— Н-да... Алиханов, я говорю, покурил, затоптал как следует свой окурочок, ни слова не сказал, только вздохнул с облегчением и вернулся к себе, за свой шкафчик.

И вот опять потекли бесконечные и томительные часы и минуты.

Прошло, вероятно, ещё пять или шесть часов. Уж не буду рассказывать, какие меня за это время мысли одолевали.

Одним словом, дело дошло до того, что я решил плюнуть и уходить из засады. Конечно, обидно было, а что же поделаешь? Бывают и не такие неудачи в жизни.

Я дал себе срок: сосчитаю до пяти тысяч и, если ничего не случится, уйду.

Стал потихоньку считать: раз, два, три... пять... десять... пятнадцать... двадцать...

И вот, представьте, не успел и до одной тысячи сосчитать — слышу во дворе: хлоп! Калитка стукнула.

Я сразу и со счёта сбился. И спать мне моментально расхотелось. И голова сразу ясная, как стёклышко, стала.

Слышу, мой Алиханов затвор у своей винтовки легонько потянул — значит, и он тоже услышал.

Сидим — и уж на этот раз и в самом деле дышать боимся. Одними ушами работаем. Слышим, идёт кто-то. Остановился. На крыльцо поднимается. Распахнул дверь, вошёл, одну только секунду у порога постоял,

и вдруг в темноте: бах! бах! бах!.. Пять винтовочных выстрелов.

Я как раз в этот момент голову нагнул, к прыжку приготовился — меня по щеке полоснуло... И я даже выстрелить не успел — слышу, дверь уж опять хлопнула.

Всё-таки я успел выбежать за ворота и выпустил наугад в темноту несколько пуль. Но это уж так, для очистки совести. Никакого смысла в этом уже не было: Филонова и след простыл.

Ловили его всю ночь. Весь лес прочесали. Все закоулки обыскали. И не нашли. Как говорится, в воду, подлец, канул...

— А что Алиханов? — перебил полковника мальчик.

— Алиханов был убит наповал, — ответил полковник. И не только я, но и все остальные заметили, как дрогнул его голос. — Когда мы вернулись на хутор, он уже не дышал. Как видно, этот смелый парень после первого выстрела Филонова ещё успел выскокить из своего укрытия, потому что тело его нашли не за шкафом, а посередине избы. Он и мёртвый крепко держал свою винтовку, и палец его лежал на спусковом крючке — повидимому, он приготовился стрелять в тот момент, когда его настигла шальная филоновская пуля.

— Послушайте, товарищ полковник, так в чём же дело? Чем же вы себя демаскировали? Почему Филонов так уверенно стрелял? Что он, шум или шорох какой-нибудь услышал?

— Какой шум? Я же вам говорю, что мы сидели как мёртвые. И никаких шорохов, кроме тараканьих шагов, он услышать не мог. А в чём было дело — это уж после, месяца через полтора, выяснилось. Филонов, как и следовало ожидать, в конце концов был пойман. Где-то в глубоком тылу его арестовали, и на допросе он дал показания, в том числе и по данному случаю.

Я тогда только что из госпиталя вышел. Меня вы-

звали в город, к начальству, и там я имел не очень большое удовольствие познакомиться с этими филоновскими показаниями.

В этих показаниях всё выглядело очень просто, даже, я вам скажу, до обидного просто. Оказалось, что нас погубило не что иное, как табачное зелье. Филонов по происхождению был тоже из староверов. Он и сам не курил, и нюх у него на этот счёт был очень острый. Когда он вошёл со двора в избу, стоило ему только повести ноздрями, и он сразу же понял, что дело неладно. Сразу же, как говорится, оценил обстановку и сделал выводы.

Вот и всё.

Конечно, за эту историю я получил от начальства очень строгий выговор. Да только — что ж выговор? Я и сам себя распекал не жалеючи. Я был сердит на себя, как никогда в жизни. Ведь мало того, что я Филонова из рук выпустил, — я своего человека погубил. Ведь Алиханов-то мёртвый, и его не вернёшь!

Подумайте только — дикость какая! Из-за какого-то зелья, из-за какой-то дурацкой сушёной травки погиб человек!

Я шёл тогда из штаба отряда на станцию, чтобы ехать обратно на заставу. Переходил через какой-то мост. И тут, на мосту, я и пришёл к этому решению. Я вынул из кармана папиросы и бросил их в воду. И с тех пор — кончено, стоп! Восемь лет уж прошло, и за эти восемь лет я ни одной штучки не выкурил.

— И не хочется? — с интересом спросил мальчик.

— Ну, братец ты мой, — усмехнулся Мережанов, — хочется или не хочется — это военная тайна. Ничего не скажу: первое время трудно было. Особенно, если принять во внимание, что я в таких расстроенных чувствах находился. Но зато я считаю, что это был мой первый и по-настоящему серьёзный подвиг.

Полковник улыбнулся и положил руку мальчику на плечо.

— Вот, милый друг Ваня, — сказал он. — Если

уж тебе действительно так хочется совершить подвиг — пожалуйста. Бери с меня пример: бросай курить. Для начала будет неплохо.

— Д-да, конечно, — сказал мальчик, и я заметил, как он смущённо спрятал за спину папиросный окурок, который за минуту до этого прикуривал у лейтенанта Брема.

Внезапно он насторожился и наострил уши.

— Машина идёт! — объявил он.

На этот раз это была наша машина: маленький, тесный, как колыбель, «виллис» с открытым верхом.

Мы с трудом разместили наши пожитки в этом игрушечном автомобильчике, попрощались с Мережановым и с мальчиком, сели и поехали.

У поворота я оглянулся.

Мережанов, высокий и широкоплечий, стоял, опираясь на суковатую палку. Немного поодаль стоял мальчик-пастух. Я видел, как он за спиной Мережанова затянулся, пустил дым, потом посмотрел на окурок, поплевал на него и бросил.

Мережанов что-то крикнул нам раскатистым басом и помахал рукой.

Потом машина свернула направо, и оба они скрылись из наших глаз.

Я долго думал о Мережанове, обо всём, что он нам рассказал сегодня, и об этом мальчике тоже.

Я не знаю, навсегда ли он бросил курить или только окурок бросил. Но если он действительно бросил эту дурную привычку, он сделал очень большое дело. Мережанов, конечно, правду сказал: не в лёгких и не в печёнке дело. А дело в том, что если мальчик сегодня сумел побороть в себе эту маленькую страстишку, кто знает, какие подвиги, громкие и высокие, он совершит впереди! Он и на полюсе, если нужно, побывает и на бочке Днепр переплывёт, и на горячем коне поскачет впереди полков и дивизий, и мало ли других славных дел на пути у каждого мальчика!..

Я думал о нём, и мне казалось, что я уже вижу на его груди золотую звезду Героя.

А маленькая наша машина, подпрыгивая, катилась по шоссе. И навстречу нам уже тянуло прохладой от большой и широкой реки, по которой нам предстояло плыть.





ПЛАТОЧЕК

Недавно я познакомился в поезде с одним очень милым и хорошим человеком. Ехал я из Красноярска в Москву, и вот ночью на какой-то маленькой, глухой станции в купе, где до тех пор никого, кроме меня, не было, вваливается огромный краснолицый дядя в широченной медвежьей дохе, в белых бурках и в пыжиковой долгоухой шапке.

Я уже засыпал, когда он ввалился. Но тут, как он загромыхал на весь вагон своими чемоданами и корзинами, я сразу очнулся, приоткрыл глаза и, помню, даже испугался.

«Батюшки! — думаю. — Это что же ещё за медведь такой на мою голову свалился?!»

А великан этот не спеша разложил по полочкам свои пожитки и стал раздеваться.

Снял шапку, вижу — голова у него совсем белая, седая.

Скинул доху — под дохой военная гимнастёрка без погон и на ней — не в один, не в два, а в целых четыре ряда орденские ленточки.

Я думаю:

«Ого! А медведь-то, оказывается, действительно бы-валый!»

И уже смотрю на него с уважением. Глаз, правда, не открыл, а так — сделал щелочки и наблюдаю остро-рожно.

А он сел в уголок у окошка, попыхтел, отдышал-ся, потом расстёгивает на гимнастёрке кармашек и, вижу, достаёт маленький-премаленький носовой платочек. Обыкновенный платочек, какие молоденькие де-вушки в сумочках носят.

Я, помню, уже и тогда удивился. Думаю:

«Зачем же ему этакий платочек? Ведь такому дяде такого платочка небось и на полноса не хватит?!»

Но он с этим платком ничего не стал делать, а толь-ко разгладил его на коленке, скатал в трубочку и в другой карман переложил. Потом посидел, подумал и стал стягивать бурки.

Мне это было не интересно, и скоро я уже по-на-стоящему, а не притворно заснул.

Ну, а наутро мы с ним познакомились, разговари-лись: кто, да куда, да по каким делам едем... Через полчаса я уже знал, что попутчик мой — бывший тан-кист, полковник, всю войну воевал, восемь или девять раз ранен был, два раза контужен, тонул, из горящего танка спасался...

Ехал полковник в тот раз из командировки в Ка-зань, где он тогда работал и где у него семейство на-ходилось. Домой он очень спешил, волновался, то и де-ло выходил в коридор и справлялся у проводника, не опаздывает ли поезд и много ли ещё остановок до пе-ресадки.

Я, помню, поинтересовался, велика ли у него семья.

— Да как вам сказать... Не очень, пожалуй, вели-ка. В общем, ты да я да мы с тобой.

— Это сколько же выходит?

— Четверо, кажется.

— Нет, — я говорю. — Насколько я понимаю, это не четверо, а всего двое.

— Ну, что ж, — смеётся. — Если угадали — ничего не поделаешь. Действительно двое.

Сказал это и, вижу, расстёгивает на гимнастёрке кармашек, суёт туда два пальца и опять тянет на свет божий свой маленький девичий платок.

Мне смешно стало, я не выдержал и говорю:

— Простите, полковник, что это у вас такой платочек — дамский?

Он даже обиделся как будто.

— Позвольте, — говорит, — это почему же вы решили, что он дамский?

Я говорю:

— Маленький.

— Ах, вот как! Маленький?

Сложил платочек, подержал его на своей богатырской ладошке и говорит:

— А вы знаете, между прочим, какой это платочек?

Я говорю:

— Нет, не знаю.

— В том-то и дело. А ведь платочек этот, если желаете знать, не простой.

— А какой же он? — я говорю. — Заколдованный, что ли?

— Ну, заколдованный не заколдованный, а вроде этого... В общем, если желаете, могу рассказать.

Я говорю:

— Пожалуйста. Очень интересно.

— Насчёт интересности поручиться не могу, а только лично для меня эта история имеет значение огромное. Одним словом, если делать нечего, — слушайте. Начинать надо издалека. Дело было в 1943 году, в самом конце его, перед новогодними праздниками. Был я тогда майор и командовал танковым полком. Наша часть стояла под Ленинградом. Вы не были в Питере в эти годы?.. Ах, были, оказывается? Ну, вам тогда не нужно объяснять, что представлял из себя

Ленинград в это время. Холодно, голодно, на улицах бомбы и снаряды падают. А в городе между тем живут, работают, учатся...

И вот в эти самые дни наша часть взяла шефство над одним из ленинградских детских домов.

В этом доме воспитывались сироты, отцы и матери которых погибли или на фронте, или от голода в самом городе. Как они там жили, рассказывать не надо. Паёчек усиленный, конечно, по сравнению с другими, а всё-таки, сами понимаете, ребята сытые спать не ложились. Ну, а мы были народ зажиточный, снабжались по-фронтовому, денег не тратили — мы этим ребятам кое-чего подкинули. Уделили им из пайка своего сахару, жиров, консервов... Купили и подарили детдому двух коров, лошадку с упряжкой, свинью с поросятами, птицы всякой — курей, петухов, ну и всего прочего — одежды, игрушек, музыкальных инструментов... Между прочим, помню, сто двадцать пять пар детских салазок им преподнесли: пожалуйста, дескать, катайтесь, детки, на страх врагам!..

А под Новый год устроили ребятам ёлку. Конечно, уж и тут постарались: раздобыли ёлочку, как говорится, выше потолка. Одних ёлочных игрушек восемь ящиков доставили.

А первого января, в самый праздник, отправились к своим подшефным в гости. Прихватили подарков и поехали на двух «виллисах» делегацией к ним на Кировские острова.

Встретили нас — чуть с ног не сбили. Всем табором во двор высыпали, смеются, «ура» кричат, обниматься лезут...

Мы им каждому личный подарок привезли. Но и они тоже, вы знаете, в долгу перед нами оставаться не хотят. Также приготовили каждому из нас сюрприз. Одному кисет вышитый, другому — рисуночек какой-нибудь, записную книжку, блокнот, флажок с серпом и молоточком...

А ко мне подбегает на быстрых ножках маленькая белобрысенькая девчоночка, краснеет, как маков цвет,

испуганно смотрит на мою грандиозную фигуру и говорит:

— Поздравляю вас, дяденька военный! Вот вам, — говорит, — от меня подарочек.

И протягивает ручку, а в ручонке у неё маленький беленький пакетик, перевязанный зелёной шерстяной ниткой.

Я хотел взять подарок, а она ещё больше покраснела и говорит:

— Только вы знаете что? Вы этот пакетик, пожалуйста, сейчас не развязывайте. А вы его, знаете, когда развяжете?

Я говорю:

— Когда?

— А тогда, когда вы Берлин возьмёте.

Видали? Время-то, я говорю, сорок четвёртый год, самое начало его, немцы ещё в Детском Селе и под Пулковом сидят, на улицах шрапнельные снаряды падают, в детдоме у них накануне как раз кухарку осколком ранило... А уж девица эта, видите ли, о Берлине думает. И ведь уверена была, пигалица, ни одной минуты не сомневалась, что рано или поздно наши в Берлине будут. Как же тут было, в самом деле, не расстаться и не взять этот проклятый Берлин?!

Я её тогда на колено посадил, поцеловал и говорю:

— Хорошо, дочка. Обещаю тебе, что и в Берлине побываю, и фашистов разобью, и что раньше этого часа подарка твоего не открою.

И что вы думаете? Ведь сдержал своё слово.

— Неужели и в Берлине побывали?

— И в Берлине, представьте, привелось побывать. А главное ведь, что я действительно до самого Берлина не открыл этого пакетика. Полтора года с собой его носил. Тонул вместе с ним. В танке два раза горел. В госпиталях лежал. Три или четыре гимнастёрки сменил за это время. А пакетик всё со мной — неприкосновенный. Конечно, иногда любопытно было посмотреть, что там лежит. Но ничего не поделаешь, слово дал, а солдатское слово — крепкое.

Ну, долго ли, коротко ли, а вот наконец мы и в Берлине. Отвоевали. Сломали последний вражеский рубеж. Ворвались в город. Идём по улицам.

Я — впереди, на головном танке иду.

И вот, помню, — стоит у ворот, у разбитого дома, немка. Молоденькая ещё. Худенькая. Бледная. Держит за руку девочку.

Обстановка в Берлине, прямо скажу, не для детского возраста. Вокруг — пожары, кое-где ещё снаряды ложатся, пулемёты стучат. А девочка, представьте, стоит, смотрит во все глаза, улыбается... Как же! Ей небось интересно: чужие дяди на машинах едут, новые, незнакомые песни поют...

И вот, уж не знаю чем, а напомнила мне вдруг эта маленькая белобрысая немочка мою ленинградскую детдомовскую приятельницу.

. И я о пакетике вспомнил.

«Ну, — думаю, — теперь можно. Задание выполнил. Фашистов разбил. Берлин взял. Имею полное право посмотреть, что там...»

Лезу в карман, в гимнастёрку, вытаскиваю пакет. Конечно, уж от его бывшего великолепия и следов не осталось. Весь он смялся, изодрался, прокоптел, порохом пропах...

Развёртываю пакетик, а там... Да там, откровенно говоря, ничего особенного и нет. Лежит там просто платочек. Обыкновенный носовой платочек с красной и зелёной каёмочкой. Гарусом, что ли, обвязан. Или ещё чем-нибудь. Я не знаю, не специалист в этих делах. Одним словом, вот этот самый д а м с к и й, как вы его обозвали, платочек.

И полковник ещё раз вытащил из кармана и разгладил на колене свой маленький, подрубленный в красную и зелёную ёлочку платок.

На этот раз я совсем другими глазами смотрел на него.

Ведь и в самом деле это был платочек не простой. Я даже пальцем его осторожно потрогал.

— Да, — продолжал, улыбаясь, полковник. — Вот

эта самая тряпочка лежала завёрнутая в тетрадную клетчатую бумагу. И к ней булавкой пришпилена записка. А на записке огромными корявыми буквами с невероятными ошибками нацарапано:

«С Новым годом, дорогой дяденька боец! С новым счастьем! Дарю тебе на память платочек. Когда будешь в Берлине, помаши мне им, пожалуйста. А я, когда узнаю, что наши Берлин взяли, тоже выгляжу в окошечко и вам ручкой помашу. Этот платочек мне мама подарила, когда живая была. Я в него только один раз сморкалась, но вы не стесняйтесь, я его выстирала. Желаю тебе здоровья! Ура!!! На Берлин! За Родину! Лида Гаврилова».

Ну вот... Скрывать не буду — заплакал я. С детства не плакал, понятия не имел, что за штука такая слёзы, жену и дочку за годы войны потерял, и то слёз не было, а тут — на тебе пожалуйста! — победитель, в поверженную столицу врага въезжаю, а слёзы окающие так по щекам и бегут. Нервы это, конечно... Всё-таки ведь победа сама в руки не далась. Пришлось поработать, прежде чем наши танки по берлинским улочкам и переулочкам прогромыхали.

Через два часа я у рейхстага был. Наши люди уже водрузили к этому времени над его развалинами красное советское знамя.

Конечно, и я поднялся на крышу.

Вид оттуда, надо сказать, страшноватый. Повсюду — огонь, дым, ещё стрельба кой-где идёт. А у людей лица счастливые, праздничные, люди обнимаются, целуются...

И тут, на крыше рейхстага, я вспомнил Лидочкин наказ.

«Нет, — думаю, — как хочешь, а обязательно надо это сделать, если она просила».

Спрашиваю у какого-то молоденького офицера:

— Послушай, — говорю, — лейтенант, где тут у нас восток будет?

— А кто его, — говорит, — знает? Тут правую руку от левой не отличишь, а не то что...

На счастье, у кого-то из наших часы оказались с компасом. Он мне показал, где восток. И я повернулся в эту сторону и несколько раз помахал туда белым платочком. И представилось мне, вы знаете, что далеко-далеко от Берлина, на берегу Невы, стоит сейчас маленькая девочка Лида и тоже машет мне своей хуленькой ручкой и тоже радуется нашей великой победе и отвоёванному нами миру...

Полковник расправил на колене платок, улыбнулся и сказал:

— Вот. А вы говорите — дамский. Нет, это вы напрасно. Платочек этот очень дорог моему солдатскому сердцу. Вот поэтому я его с собой и таскаю, как талисман...

Я чистосердечно извинился перед своим спутником и спросил, не знает ли он, где теперь эта девочка Лида и что с нею.

— Лида-то, вы говорите, где сейчас? Да, знаю немножко. Живёт в городе Казани. На Кировской улице. Учится в восьмом классе. Отличница. Комсомолка. В настоящее время, надо надеяться, ждёт своего отца.

— Как! Разве у неё отец нашёлся?

— Да, нашёлся какой-то...

— Что значит «какой-то»? Позвольте, где же он сейчас?

— Да вот — сидит перед вами. Удивляетесь? Ничего удивительного нет. Летом сорок пятого года я удочерил Лиду. И нисколько, вы знаете, не раскаиваюсь. Дочка у меня славная...



СО Д Е Р Ж А Н И Е

Новенькая. Худ. Л. Гольдберг	3
Честное слово. Худ. И. Харкевич	27
На ялике. Худ. И. Харкевич	34
Главный инженер. Худ. И. Харкевич	51
Первый подвиг. Худ. И. Харкевич	68
Платочек. Худ. И. Харкевич	88

ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Пантелеев Алексей Иванович

Н О В Е Н Ъ К А Я

Ответственный редактор *Р. М. Пикман*. Художественный редактор *Н. И. Комарова*.
Технический редактор *Э. В. Тишина*. Корректоры *Е. И. Вильтер* и *А. В. Ясиновская*.
Сдано в набор 24/IV 1956 г. Подписано к печати 23/VII 1956 г. Формат 60 × 92^{1/16} —
6 печ. л. (4,56 уч.-изд. л.). Тираж 400 000 экз. Заказ № 631. Цена 2 р. 60 к.
Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Цена 2 р. 60 к.

